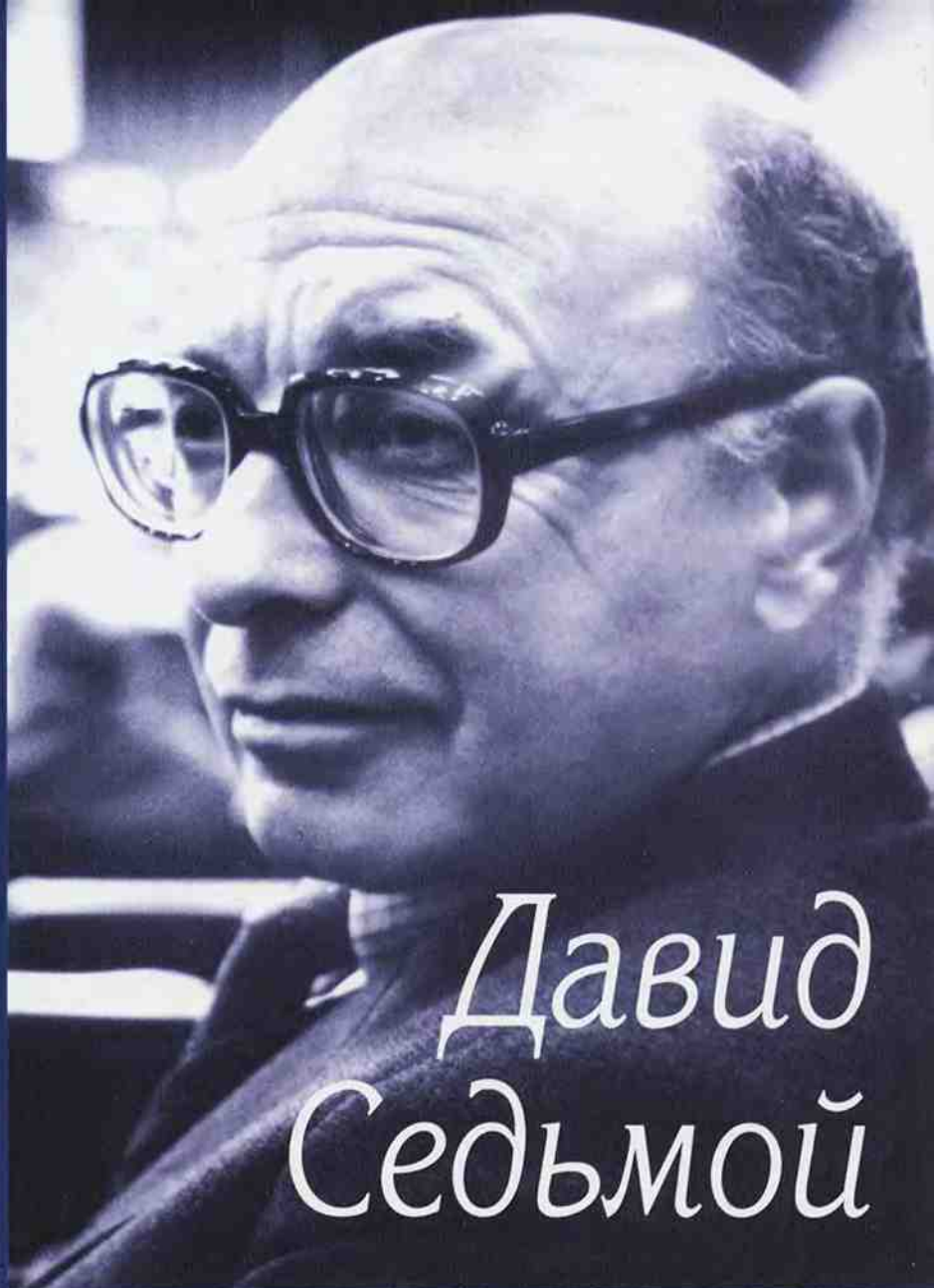


Давид Седьмой

Генна
Сосонко

Издатель "Андрей Ельков"



Давид Седьмой



Генна Сосонко

Генна Сосонко

ДАВИД СЕДЬМОЙ

Издатель «Андрей Ельков»
Москва 2014

УДК 794.1
ББК 75.581
С66

Сосонко Геннадий Борисович

С66 ДАВИД СЕДЬМОЙ. Москва, 2014, 232 с., 12 с. ил.

ISBN 978-5-906254-12-2

Книга Генны Сосонко посвящена судьбе выдающегося шахматиста Давида Ионовича Бронштейна. Пик Бронштейна пришёлся на середину прошлого века, когда он бросил вызов самому Ботвиннику и почти одолел его, но это «почти» нанесло ему рану, так и не зажившую до конца жизни.

Автор неоднократно встречался и разговаривал с Бронштейном, и эти перенесённые на бумагу беседы воссоздают не только мысли и характер одного из самых оригинальных гроссмейстеров прошлого, но и возвращают нас во времена, аналогов которым не просто сыскать в мировой истории.

Не являясь жизнеописанием в классическом понимании слова, читающаяся на одном дыхании книга Сосонко выходит за пределы биографии героя, ставя вечные вопросы, на которые нет однозначного ответа.

Фото из архивов автора и журнала «64-ШО».

Сосонко Геннадий Борисович

ДАВИД СЕДЬМОЙ.

Оформление, верстка *Андрей Ельков*

Формат 84x108 1/32. Заказ 724

Печать офсетная. Бумага офсетная.

Тел./факс: (495) 963-80-17

e-mail: elkovmail@mtu-net.ru, murad@chess-m.com

<http://www.elkov.ru>

<http://www.chessm.ru> – Интернет-магазин

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного оригинал-макета
в ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие «Правда Севера».

163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32.

© Сосонко Г., 2014

ISBN 978-5-906254-12-2

© Издатель Ельков А., 2014

«Ботвинник сделал шахматы великой игрой. Если бы не Ботвинник, не знаю, чем бы стали шахматы в Советском Союзе. Но искусством шахматы были до тех пор, пока Ботвинник не опубликовал в 1939 году статью о шахматной подготовке.

Шахматы стали в СССР одним из средств воспитания народа, а советская шахматная школа – это исследовательская работа, и вся школа эта, хоть и зародилась в двадцатых годах, по-настоящему началась с 1945 года, когда мы матч с американцами с разгромным счетом выиграли.

Мы просто не дали им выйти из дебюта; не дали подняться в воздух и разбили американцев на их территории. Они что думали: час в день фигурки передвигать, а потом соревноваться с советскими шахматистами?»

«Я ведь у Ботвинника выигрывать не хотел, поймите, я ведь не для славы играл, меня слава не интересует, я для публики играл, чтобы публике было интересно. Я ведь очень тонко играл, я идеи генерировал...

А у Ботвинника не выиграл потому, что не признавал этого первенства мира надуманного: зональный турнир, межзональный, турнир претендентов. Как четвертьфинал, полуфинал, финал – прямо как чемпионаты Советского Союза.

Для меня ведь кто чемпионом мира был? Морфи, Андерсен – вот были чемпионы! Идею шахматного чемпионства предложил Стейниц, потом Ласкер сказал, что в шахматы

играют не фигуры, а люди, и отношения между шахматистами превратились в отношения боксеров перед боем.

Это ведь всё с Ласкера началось, а Ботвинник уже от него перенял, он ведь с ненавистью на соперника смотрел. Это была целая школа излучателей ненависти: Ласкер, Алехин, Ботвинник, Фишер, Карпов, Каспаров. Вот Каспаров как-то сказал, что его со мной разделили поколения и поэтому со мной он не играл. О чем это он? Какие поколения? Я еще жив и понимаю толк в игре. Пусть меня пригласят на турнир, я поеду и сыграю. Но у меня рейтинга нет. Следовательно я не существую как шахматист.

Само понятие “чемпион мира” унижает шахматы, что уж тут говорить. Конечно, я глупо сделал, что тогда у Ботвинника не выиграл, ведь в двадцать третьей партии ничья простая была, вы думаете, я не видел этого хода конем? Вы так думаете?»

«Я понимаю, вам надо всё разложить по полочкам, всё через психологию провести. А может, вы еще и парапсихологию сюда привяжете? Я вам скажу: шахматисты меня кинули. Так, кажется, теперь говорят. Кинули...

Шахматы, в которые я играл, кажутся молодым шахматами Средневековья, а то и каменным веком. А для чего я с компьютером эти идиотские матчи играл? Зачем я это делал? Я хотел только показать, что человеческий мозг может сопротивляться компьютеру, а теперь видно, что мозг этот ничто по сравнению с теми сотнями миллионов операций, которые тот же компьютер в секунду производит...

Да и книгу мою “Турнир гроссмейстеров”, которую все превозносят, терпеть не могу. Так и напишите: терпеть не могу! Книга эта переиздается, выходит на других языках, а меня отбросили на обочину шахматной жизни...

Я вам первому это говорю, я никому еще этого не говорил, поймите меня... Шахматы не стоят того, чтобы о них писали, как вы о них пишете. Не стоят. Вот вы сказали, турнир в Испании сильный был. Сильные, говорите, гроссмейстеры играли. А что такое сильный? Были шахматисты

интересные и неинтересные, а сейчас все сильные. Теперь и выпускник школы – сильный математик...»

«Я не понимаю, что происходит. Я не знаю, что правильно, я ничего не понимаю. Нас ведь затащили в эту яму. Говорили: шахматы – это то же самое что Шекспир, Веласкес, Рафаэль. Искусство. Так ведь говорили? А на деле? Это никому, никому не нужно.

Это – нехорошо, несправедливо, жестоко. Я понимаю, что вы писать обо мне хотите. Я понимаю... И знаю, что если вы или кто-нибудь другой обо мне напишет, всё будет не так. Всё – не так. Вот вы про Рихтера рассказывали, как он в конце самом сказал – я недоволен собой, недоволен. И я мог бы то же самое сказать. Кому это всё было нужно? Но я сам виноват во всем, сам. Наверное, я неправильно всё делал. Не так. Не то...»

«Я никому не интересен и никому не нужен, я уходящий из шахмат и из жизни человек. И я жалею, что жизнь свою шахматам отдал, а не искусству, например.

А вы не жалеете? Тоже, наверное, жалеете. Мы ведь с вами оказались в одной яме. В тигриной яме. Знаете, как в Африке тигров ловят? Вырывают яму и...

Вот мы с вами и оказались в такой яме, только яма эта шахматами называется. И мне обидно, что нас втащили в эту яму, и мне так и не удалось выбраться из нее. Ведь шахматы – крошечная частица занятий рода человеческого, только шахматисты стараются представить, что это, мол, наиважнейшее занятие. Моя жизнь уже прошла почти, а я своему возрасту не соответствую. Поймите, у меня мозг еще молодой, я же еще всё понимаю...

Меня интересовала жизнь, а не только шахматы, и я переоценил свои возможности. Я когда всё это говорю, кажусь себе комиком. Этакой комической фигурой, человеком из совершенно другого мира, да и на самом деле я говорю с вами из другого времени.

Ведь тогда всё было по-другому, тогда “холодная война” была. Война была и на шахматной доске. Война фигурами.

Я не так прожил мою жизнь, не так... Всё не то делал, всё – не так. Я верил в шахматы, в то что это кому-нибудь да нужно. Получается, что я вам сейчас вроде как некролог о самом себе наговариваю. Так ведь получается?»

Это отрывки из разговоров с Давидом Ионовичем Бронштейном последних полутора десятков лет его жизни. Что и говорить, они далеки от оптимизма. Но думал ли он так всегда? Когда в 1936 году мальчиком пришел в киевский Дом пионеров? Когда выигрывая едва ли не все послевоенные турниры, вышел на Ботвинника и был на расстоянии вытянутой руки от звания чемпиона мира? Когда играл партии, которыми до сих пор восхищаются любители шахмат?

Не только спортивные успехи определяют место шахматиста в истории игры. Глубина партий, оригинальность замыслов, отважный бросок вперед в неизведанное для истинных ценителей значат не меньше, чем перечень результатов и цифры рейтинга.

Копия со знаменитой картины, даже мастерски выполненная, ничего не стоит. Тем более, копии с копий. В шахматах встречаются десятки, сотни копий одних и тех же идей. Теория базируется на тысячах, миллионы раз повторенных и откристаллизованных позициях. Но у истоков каждой идеи стоял кто-то, кому эта идея пришла в голову первому. Одним из таких пионеров был Давид Бронштейн.

Переигрывая партии Бронштейна послевоенного десятилетия, видишь, что очень многое, сегодня ставшее общеизвестным, впервые ввел в практику именно он.

Юрий Авербах считает, что назвав свою серию «Мои великие предшественники», Каспаров совершил ошибку, «признав за чемпионами право быть единственными, оказавшими влияние на развитие шахматного творчества. Особо несправедливо это оказалось по отношению к Бронштейну, который играл в свое время не менее важную роль для развития шахмат, чем, например, Смыслов...»

Тигран Петросян сказал однажды: «Молодые игроки считают, что современные шахматы начались с “Информатора”, но шахматисты моего поколения знают: они начались с Давида Бронштейна».

Так думали не только в России. Идеи Бронштейна стали на Западе подлинным откровением. Воспитанники классической школы Макса Эйве были поражены партиями молодого Бронштейна: «Как можно играть такой некорректный дебют, как староиндийская защита? Просто так, добровольно сдавая центр? Невероятно!»

С поры его высшего пика – закончившегося вничью матча на первенство мира – прошло шестьдесят с лишним лет, но в оценке Бронштейна сегодня нет единодушия.

Если некоторые считают его одним из самых выдающихся шахматистов XX века, другие, прагматики – самым переоцененным, как это было в недавней анкете немецкого шахматного журнала.

Коллеги Бронштейна смотрели на него иначе. Когда я в разговорах с Василием Васильевичем Смысловым сравнивал Бронштейна с Решевским, Смыслов не соглашался: «Да нет, выше брать надо: чемпионского калибра был Давид Бронштейн!»

Своеобразие Бронштейна мешает определить его обычными мерками. Сказать, что он был выдающимся игроком, значит изъясняться тавтологиями: это знает каждый, кто знаком хоть в малой степени с его творчеством. Трудно, рассказывая о шахматисте такого калибра, не показать в чем он был велик, но в случае Бронштейна мне, может быть, больше чем в чем-либо, не хватает текста партий и диаграмм, чтобы показать красоту его замыслов и полет его фантазии.

Когда я жил в Советском Союзе, мы были шапочно знакомы, обменявшись парой фраз в пресс-центрах турниров. Фразы эти не представляют какого-либо интереса, хотя и не стерлись в моей памяти.

По-настоящему мы познакомились в Гастингсе (1975–1976), где виделись ежедневно, и хотя почти каждый вечер я проводил в прогулках по набережным ветреного приморского городка с Виктором Корчным, разговоры с Бронштейном заняли тоже немалую толику времени.

Потом был пробел в добрый десяток лет: Бронштейн не играл в турнирах в Западной Европе, а путь в Советский Союз был мне заказан.

Но с конца 80-х годов мы регулярно виделись. Сначала в Голландии на турнирах «Интерполис», в Амстердаме на Доннеровском мемориале, в Гааге на турнирах с компьютерами. В Англии, Бельгии, Франции, где он играл в клубных соревнованиях и, конечно, в Москве, когда я приезжал в полуперестроечную Россию.

Вспоминая встречи с Давидом Ионовичем Бронштейном, мне хотелось рассказать не столь о выдающемся шахматисте, сколь о человеке. Хорошо зная, что индивидуум – ин/дивидуум – неделимое целое, я попытался всё же отделить замечательного шахматиста от необычного человека с его слабостями и комплексами.

В основу книги легли мои собственные беседы с ним и воспоминания знавших киевского подростка по прозвищу Малец. Увы, их почти уже не осталось.

Я даю слово его коллегам, его соавторам, его друзьям и недругам. О нем говорят гроссмейстеры, игравшие с ним в пятидесятых годах – их тоже уже можно перечесать по пальцам. Его вспоминают и те, чей пик пришелся на последние десятилетия прошлого века. И они давно уже ветераны.

Я показываю его в разных ракурсах, отходя на расстояние и снова приближаясь из различных точек пространства. Пытаюсь объяснить мотивы его поступков.

Обычно воспоминания о незаурядном человеке пишутся под действием готовой, вызревшей легенды. Легенды и мифы непобедимы и – как следствие – доказательств не требуют. Всё же мне хотелось выступить против догм, уже ставших каноническими: помимо партий Бронштейна существует еще и легенда о Бронштейне. Не обращая внима-

ния на уже сложившийся образ, я старался показать живого человека, убрав всё наносное и придуманное.

Добровольно водрузив на свои плечи жесткую власяницу, он носил ее с большим удовольствием, так что имидж мученика, созданный и взлелеянный в первую очередь самим Бронштейном, сросся с ним.

Этот образ он сам, его жена и соавторы старательно пестовали: оригинал, чужак, диссидент. Они канонизировали образ страдальца и борца за «чистые» шахматы, за красоту, исчезающую из них в угоду результату.

Я решил написать и о том, что знали находившиеся с ним в непосредственной близости, но не решались сказать или написать. Ведь они всё время имели в виду, как посмотрит на это обожаемый ими человек.

Содержание его последних книг и интервью принадлежит к разряду мифов и легенд, сотворенных при его активном участии. В попытке расшифровать их я старался придерживаться фактов, предоставляя право их интерпретации читателю, хотя в своих попытках дать объяснение столь неординарной личности, следовал порой тыняновскому принципу: «там, где кончается документ, я начинаю».

Пытаясь прорваться сквозь дымовую завесу, очищая его образ от шелухи, навешанной на него частично коллегами и журналистами, частично им самим, я старался честно и жестко назвать вещи своими именами. Читатель сам легко установит, когда это происходит и может, конечно, не согласиться с моими умозаключениями.

Не решаясь придти к какому-нибудь окончательному выводу, здесь и там я ссылался на мудрецов и философов. Помогло ли это? Не уверен: как ни обклеивай такого неординарного человека, как Давид Бронштейн, высказываниями авторитетов, его не раскроешь при помощи красивых афоризмов.

Кто-то из знаменитых биографов заметил, что хорошо рассказать о жизни не легче, чем прожить ее. Зная превос-

ходно, что чужую жизнь рассказать вообще невозможно, я и не задавался такой целью. Ведь очень часто полная правда о человеке так и остается неизвестной, и самому человеку она известна еще меньше, чем кому бы то ни было.

Любая биография – вымысел, даже если она увязана с фактами, потому что внутренний мир любого человека не поддается описанию. Тем более трудной будет задача будущего биографа Давида Ионовича Бронштейна.

Уверен: его жизнь может быть написана только в форме патографии. Если в тридцатых годах прошлого века патографией считалась «особая форма биографии, составленная с точки зрения характерологических и психопатологических данных выдающегося человека», сегодня это скорее «область клинической психотерапии, изучающей творчество одаренных людей сообразно душевным и духовным особенностям индивидуума».

В характеристике его можно столкнуться с невероятным разнообразием оценок – мудр, невыносим, гениален, фальшив, последний романтик, шизофреник, жертва системы, пророк, опередивший свое время, зануда, мессия, ханжа с манией величия, безумец, Сократ.

На самом деле в нем было всего понемногу. Качества эти совсем не взаимо себя исключают и было бы неправильно, да и невозможно привести его к одному знаменателю.

Писать о Бронштейне вдвойне трудно еще и потому, что в многочисленных интервью он утверждал одно, в другой раз – совсем иное, в третий – опровергая всё, сказанное до этого. На почти каждое утверждение Бронштейна можно отыскать совершенно противоположное по смыслу его же самого.

Порой казалось, что, жонглируя мыслями, он просто забавляется над собеседником. Он рассматривал события в разных ракурсах, придавая им различную подсветку и, как доцент в аудитории, время от времени переворачивал доску и рисовал на другой стороне новые формулы и доказательства. Завтра он мог опровергнуть их все, доказав противоположное со вчерашней убежденностью.

Когда я расспрашивал Макса Эйве о Савелии Тартаковере, экс-чемпион мира заметил, что из современных шахматистов Тартаковера больше всего ему напоминает Бронштейн: «тоже избывающий идеями, но какой-то странный, странный...»

К сожалению, я не спросил тогда Эйве, что он понимает под словом «странный». Наверное, Профессор имел в виду, что оба не вписывались в общие рамки, выпадали из привычных человеческих типов.

Я и сам понял это, когда пытался отнести Бронштейна к какой-нибудь разновидности людей того времени, пока не бросил бесполезное занятие. Да и то, сказано ведь – «не сравнивай: живущий несравним».

Можно возразить: а следует ли вообще говорить о выдающемся шахматисте как о человеке? Даже о людях высшей степени талантливости британцы предпочитают говорить «he has a genius» – не он гений, а его гений. Человек ведь не исчерпывается гениальностью, но кому интересно, как соотносится жизнь человека незаурядного с его повседневной жизнью? Достаточно ведь ограничиться замечательными партиями без побочных биографических примесей, рассматривая необыкновенного человека только, в чем проявился его гений.

Ведь гений при рассмотрении его с увеличительным стеклом почти всегда теряет свое очарование и оборачивается обычным человеком с его пристрастиями и слабостями. Кого интересует, в конце концов, что Алехин пил горькую, Капабланка был ловеласом, Фишер – антисемитом.

Бронштейн тоже существует в своих партиях и в своих книгах, и многие могут сказать – не играет абсолютно никакой роли, как вел себя Давид Ионович Бронштейн в обстоятельствах, предложенных ему временем.

Не могу согласиться: выдающийся в какой-нибудь области человек интересен и в личностном, каждодневном, а не только в том, чем отличается от других.

Разве не интересно, что в самое злое время Советского Союза он находился под патронажем высокого

чина госбезопасности? А своими удивительными идиосинক্রазиями не интересен? А неадекватным поведением, репутацией чудака, оригинала, потом диссидента – не интересен?

В случае Бронштейна его личностные качества имеют значение и для понимания его спортивного пути. На его жизнь нельзя смотреть как на придаток творчества – без объяснения подробностей его биографии будут зачастую непонятны даже решения, принимавшиеся им за шахматной доской.

При советской власти было невозможно прожить жизнь, не заключая на каждом шагу компромиссы с собственной совестью, но случай Бронштейна еще более сложный: счастливое киевское детство, страстная любовь к шахматам, арест отца, война, голод, скитания, бездомность и огромное честолюбие закомплексованного провинциального подростка, оказавшегося в столице огромной империи. И обрушившаяся на него невероятная известность, и пик ее – матч на мировое первенство по шахматам.

Среди самых разнообразных типов, порожденных советской действительностью, случай Бронштейна – особый. Давид Бронштейн был евреем, шахматистом, чудаком, философом и правдоискателем. Нелегкое сочетание при любой системе, тем более при режиме, во время которого ему выпало прожить большую часть жизни.

Тот строй создал особую ментальность, и любая попытка рационального толкования личности Бронштейна, если не держать в уме то невероятное время, представляется невозможной, да и неправильной.

Но как рассказать о человеке необычайного дарования, жизнь которого пришлась на время, оказавшееся таким неудобным для него? Ведь изменить правопорядок невозможно, а приспособливаться к нему – как?

Как наполнить мертвые буквы текста воздухом тех дней, смыслом, понятным современникам без всяких объясне-

ний? Как передать весь комок предрассудков и верований, без слов понятных тогда каждому?

Утрачены многие компоненты, составлявшие атмосферу эпохи, того специфического прошлого, каким было советское прошлое сороковых-пятидесятих годов ушедшего века.

О том времени, на которое пришелся расцвет Давида Бронштейна, писал поэт: «Конец сороковых годов, сорок восьмой, сорок девятый, был весь какой-то смутный, смятый. Его я вспомнить не готов. Не отличался год от года, как гунн от гунна, гот от гота во вшивой сумрачной орде. Не вспомню, что, когда и где».

Слишком много тонких нюансов улетучилось безвозвратно, и проще передать словами музыкальную пьесу, чем описать ту удивительную эпоху. Я старался всё же восстановить те нюансы, не поддаваясь рефлексии сегодняшнего дня, хотя и понимал, что задача эта необычайно трудная и вряд ли осуществимая вообще.

Зачастую я вынужден был обращаться к очень мелким, бытовым фактам, занимаясь тем, что в немецком языке получило название «Waschzettelpilologie» – исследованием счетов за стирку белья – казалось бы, совершенно пустяковыми подробностями.

В случае Бронштейна такие подробности совершенно необходимы: без них попытка объяснения мотивов и поведения одного из самых значительных шахматистов прошлого века заранее обречена на неудачу.

В ряде случаев я не погнушался даже пересказом мнений случайных знакомых, частными разговорами, слухами; вся эта пестрая мозаика ведь и составляет ту особую жизнь общества, которая чаще всего и остается вне внимания историков.

Немаловажным может оказаться даже не сказанное: любую эпоху можно понять не столь по тому, что говорилось, сколь по тому, что подразумевалось, о чем умалчивалось.

Даже диковинные причуды Бронштейна симптоматичны для целой эпохи и могут сказать много больше о жизни в тот период, чем исторические и социологические исследования.

Находясь под диктатом условий и заключая компромиссы с режимом, Бронштейн, очевидно, должен был жить двойной, а то и тройной жизнью, воспринимая это как норму. Жить, будучи убежденным в незыблемости Империи и сознавая, что так будет всегда – по крайней мере, в течение отпущенной тебе жизни.

Подневольный союзник режима, Давид Бронштейн был яркой личностью на фоне государственного строя, ставившего целью обезличить своих граждан, причесать всех под одну гребенку.

Тот строй был характерен особым презрением к индивидуальности, а он, будучи ярко выраженным индивидуалистом, на протяжении всей жизни лелеял свою инакость, свою отверженность, свою оригинальность.

Если при авторитарном режиме нельзя создавать философские системы, следовать модным направлениям в искусстве, писать стихи и романы так как хочется и о чем хочется, люди проявляют свои таланты в доступных областях.

Тогда появляются блестящие музыкальные исполнители, танцовщики и балерины, авторы детских книжек, переводчики, спортсмены. И выдающиеся шахматисты.

Более того, заинтересованная в пропаганде собственной политики власть заботится и развивает именно эти, не посягающие на фундамент ее существования занятия.

Атмосфера холодной войны, на которую пришелся расцвет Бронштейна, была перенасыщена грозowymi разрядами, и шахматы в Советском Союзе, являясь делом государственной важности, были насквозь пропитаны политикой.

Как бы Бронштейну ни претили многие порядки в Советском Союзе, он не мог полностью выпасть из среды существования: та среда и то время оставили на нем до самого конца невытравленное клеймо, и определение «антисоветский советский человек» полностью подходит к Давиду Бронштейну.

Внешнее отторжение от системы сочеталось у него с теснейшей к ней причастностью; к ее институтам, понятиям и

соблазнам. Он так и не смог избавиться от страхов и комплексов, унаследованных от того времени, и сам признавался, что письма за границу, которые он писал уже из послеперестроечной России, «получались настолько исповедальными, что я по старой советской привычке опасался их отправлять».

Конечно, советские шахматы были только крошечным сколком системы, но при более глубоком рассмотрении в этом сколке обнаруживается огромный слой с собственной спецификой, яркими характерами, необычными личностями, триумфами и трагедиями, отголоски которых слышны до сих пор.

В то несвободное время, переносясь в другой мир, человек чувствовал себя свободным хотя бы на те несколько часов, пока сидел за шахматным столом. Это была область, где не только игроки на сцене, но и зрители, шепотом обсуждавшие ходы маэстро, были вольны в своих суждениях и оценках. У них не было никакой цели, к которой призывало всё в реальном мире, ничего, кроме доказательства правоты идей, воплощавшихся в передвижении фигур на шестидесяти четырех квадратах доски.

Тысячи людей безбедно жили, не будучи гроссмейстерами или мастерами, но просто находясь при шахматах в качестве тренеров, заведующих клубами, инструкторов, методистов, судей и представителей еще бог знает каких синекурных должностей, возможных только в государстве, являющемся единственным работодателем и очень заботящемся о своем имидже.

Будучи невероятно популярными и являясь коллективной отдушиной, шахматы захватили немалую часть закрытого советского общества, и обломки навсегда ушедшей под воду Атлантиды только напоминают: та Атлантида действительно существовала.

Уинстон Черчилль сказал как-то, что книга нередко начинается как забава, потом становится любовницей, женой, хозяином. Наконец – тираном.

Отправившись на раскопки того времени с целью обнаружения подлинного Бронштейна, я прошел все эти стадии. Сначала я полагал, что уложусь в месячную экспедицию, пока вдруг не заметил, что тема наполняется все новыми и новыми аспектами, и я оказался привязанным к ней на годы.

В процессе работы образ перерастал замысел, он просто увеличивался на глазах. Исследование из зарисовки превратилось в статью, потом в эссе, пока я не обнаружил, что написал книгу.

Фигура Давида Ионовича Бронштейна оказалась столь любопытна, а его мысли представляли настолько причудливый конгломерат выдающегося таланта, абсурда, оригинальных идей и восхитительного безумия, что, дабы не заблудиться в их калейдоскопическом блеске, я решил придерживаться хронологической канвы.

Когда китайские императоры хотели оказать человеку честь, пожаловав ему знатный титул, они даровали почетное звание его предкам до определенного колена. Китайцы верили, что выдающийся человек накапливал в себе черты предков, которым, как они полагали, он и обязан собственным талантом.

Книгу «Ученик чародея» Давид Ионович Бронштейн посвятил своим родителям Эстер-Малке Дувид Аптекарь и Иохонону Берко Бронштейну, подчеркнув полным разворотом имен, полученных ими при рождении, национальность отца и матери.

Иохонон Бронштейн, родившийся в украинской деревне Ротмистровка, всегда интересовался политикой и стал членом Бунда – Всеобщего еврейского рабочего союза в России, организации, близкой к меньшевикам.

В 1919 году он вышел из Бунда и вступил в коммунистическую партию Украины. Ему было тогда двадцать четыре года. В 1935 году Иону, как он стал себя называть, исключили из партии: уполномоченному Комитета по за-

готовкам сельскохозяйственной продукции не нравились законы, по которым права единоличников откровенно ущемлялись.

Борясь за справедливость, он начал писать жалобы в Москву, войдя в конфликт с местным начальством, которому, как водится, и поступали все его жалобы. Бронштейна разжаловали из директоров и восемь месяцев до своего ареста 31 декабря 1937 года он работал простым рабочим на той же мельнице на киевском Подоле.

Ему дали детский по тем временам срок – семь лет лагерей; сокрытие факта, что брат жены в 1915 (!) году уехал в Америку, было только ненужным довеском в деле Ионы Бронштейна. Его единственному сыну было тогда неполных четырнадцать лет.

В письмах из лагеря отец писал: «Дорогой сыночек Дэвик! Первое, чтобы ты никогда не забывал, что тому, что ты сумел выдвинуться как шахматист, ты обязан не столько своим способностям, сколько системе советской власти, которая дала тебе эти возможности устройством Дворцов пионеров, дала талантливых учителей ... Пишу это тебе для того, чтобы ты берег Власть Советов, как зеницу ока...»

Несмотря на очевидный факт перлюстрации переписки, с чем приходилось считаться каждому ээку, в этих строках я не слышу принуждения или заигрывания.

Действительно, только при советской власти Иона Бронштейн с семьей смог переселиться в столицу Украины, да и возможность посещать киевский Дом пионеров, где развился замечательный талант его сына, появилась только после революции.

Мама Дэвика нередко повторяла, что в стране всё хорошо, что она видела на своем веку девять погромов, а при советской власти погромов не было, что у евреев появилась возможность жить в больших городах и беспрепятственно получать высшее образование.

В 1941 году на празднике, посвященном пятилетнему юбилею шахматного клуба киевского Дома пионеров, Мария Давидовна с уверенностью говорила: из сына вырастет

достойный гражданин СССР (муж уже три с половиной года в лагере, но ошибки ведь случаются всегда).

И отец, и мать Дэвика придерживались распространенной тогда точки зрения, что товарищ Сталин не знает всего. В декабре 1949 года Дэвик выиграл блиц-турнир в честь 70-летия вождя и вспоминал, как отец был счастлив, когда он отдал ему приз – часы с выгравированным на них дорогим именем.

В лагере Иона Бронштейн голодал, заболел цингой, потерял глаз, но выжил и был сактирован. Получив ограничение на проживание в больших городах, поселился в подмосковном Подольске, но при первой возможности явился с лагерной котомкой в Москву, прямиком в Киевскую гостиницу к своему знаменитому уже сыну, игравшему в первенстве Советского Союза по шахматам.

(Любопытно, что в Подольске одно время мельницей заведовал другой Бронштейн – отец одного из вождей Октября Льва Давидовича Троцкого, но это было, понятно, еще в самом начале двадцатых годов).

Годы, проведенные в лагере, не изменили характер Ионы Борисовича: во время матча Дэвика на мировое первенство с Ботвинником в 1951 году он не раз приезжал в Москву, присутствовал на партиях матча и на собраниях тренерского штаба сына.

Мог вспылить, сказать секундантам Дэвика в присутствии высоких динамовских чинов: глупостями вы все занимаетесь и, хлопнув дверью, выйти из комнаты.

Выпив водки, становился говорлив, не обращая внимание в какой компании находится. Дэвик вспоминал, что отец, любитель поговорить и поспорить, мог затеять разговор – «а вот у нас в лагере...» – не замечая тревожные взгляды, которые бросала на него жена.

В последние годы жизни Иона Бронштейн порой заговаривался, нес бог весть что и некоторое время провел в психиатрической больнице имени Кашенко.

Не думаю, что это было расправой: в советских психушках сидели люди с диагнозом «мания правдоискательства»,

но это было уже позже, в 60–70-х годах, в начале же 50-х о наказаниях такого рода и не слыхивали: к любителям «поговорить» применяли более радикальные меры.

В течение всей жизни Иона Борисович Бронштейн был правдоискателем и духоборцем – черты, легко обнаруживаемые и у его единственного сына. Только для отца, жившего в более суровое время, государство отпустило семь лет лагеря, а по отношению к знаменитому гроссмейстеру ограничилось административными санкциями и реприандами.

Давид Ионович Бронштейн родился в Белой Церкви на Украине 19 февраля 1924 года, но первые воспоминания Дэвика относятся к Бердянску.

«В Бердянске я научился читать, мне было тогда три года. Там милиционер был, сидел на лавочке и читал газету. Я приставал к нему: дядя, что ты делаешь? Тому надоело и он принялся меня учить. Вот я по газете “Правда” читать и выучился. Ребенком я говорил на идише и даже поступил в еврейскую школу

В третьем классе меня попросили прочесть текст на идише. Я прочел. Потом тот же текст по-русски, и я так же хорошо прочел. Потом попросили пересказать текст по-русски своими словами. Я пересказал и тоже очень хорошо. Тогда меня в русскую школу перевели», – вспоминал в конце жизни Бронштейн.

Малым ребенком он пытался разобрать телефонный аппарат, откуда слышал отцовский голос. Та же участь постигла и лошадку-качалку: интересно, а как она может жить без пищи. Это чувство – посмотреть, как всё устроено, любопытство к жизни он сохранил едва ли не до самого конца. Из Бердянска родители переехали в Киев, где в жизнь Дэвика вошли шахматы.

Роберт Фишер, вспоминая детские годы, сказал: «When I was eleven, I just god good». Для Дэвика Бронштейна такое время началось, когда ему исполнилось двенадцать.

Перепробовав все кружки в школе, включая радиотехнический и авиамодельный, он пришел в 1936 году в шашечную секцию киевского Дома пионеров. Его приятель уже занимался там в шахматном кружке, но мальчикам хотелось попробовать всё и они сделали «рокировку». В результате Исер Куперман стал чемпионом мира по столклеточным шашкам (семикратным!), а Давид Бронштейн, пусть только примерил королевскую корону, в течение послевоенного десятилетия изумлял сверкающими партиями весь шахматный мир.

Другой приятель Бронштейна тех лет Абрам Хасин вспоминает, что телосложения он был далеко не богатырского, и его закадычный друг Ханаан Мучник, закатывая рукава футболки, предлагал Мальцу: «Ну ты, хияляк, пощупайка мускулы. Куда тебе...»

Дэвик уже умел играть в шахматы: ему было шесть лет, когда дедушка показал ребенку, как ходят фигуры. Тренер киевского Дома пионеров Александр Маркович Константинопольский рассказывал, что маленький Дэвик играл только на ловушки. Он совсем ничего не понимал в позиционной игре, выборе плана, стратегии. Поначалу тренер решил тут же переучивать мальчика, но потом раздумал: не надо ему мешать, пусть развивается собственным путем.

Знаменитый одесский педагог Петр Соломонович Столярский говорил маленькому Ойстраху: «Давид, ты должен играть вкусно. Как щи». Давиду Бронштейну не нужно было это говорить: обладая врожденным талантом, работоспособностью, неимоверным честолюбием, волей, он был шахматистом, еще не сыграв ни одной партии.

Однажды в разговоре с Доннером я обронил – «большой талант». Голландец поморщился: «Что это? Талант, талант... Что ты имеешь в виду? Талант – это решимость, колоссальное желание чего-нибудь добиться. Чему посвящаешь душу, сердце, жизнь. Вот что такое талант».

Не вдаваясь в определение таланта, данное голландским гроссмейстером, можно сказать, что все эти качества присутствовали у Давида Бронштейна.

В конце жизни Давид Ионович вспоминал, что и он, и его приятели по шахматному кружку киевского Дома пионеров просто играли в шахматы, не задумываясь ни о чемпионском звании, ни о каких-либо других. Не знаю, что думали о разрядах и званиях приятели Дэвика, но что касается его самого...

Перед поездкой на межзональный турнир в Швецию в 1948 году Бронштейн писал: «Сыграть матч на звание чемпиона мира – заветная мечта каждого шахматиста. Что касается меня, то мечтаю об этом с того самого дня, как впервые пришел в Киевский Дом пионеров и доказал строгому экзаменатору Александру Марковичу Константинопольскому, что умею провести пешку в ферзи.

Вот так же, думал я, окончится моя партия с Ласкером – его я считал главным своим конкурентом. Я поставлю короля в оппозицию впереди своей пешки, а затем косым маневром проложу ей дорогу до восьмой горизонтали. А будь у меня лишний ферзь, Ласкеру лучше со мной не связываться».

Забегая вперед, скажем, что детские грезы Дэвика сбылись: ему удалось сыграть матч на мировое первенство, хотя соперником его стал не Эмануил Ласкер, а Михаил Ботвинник.

В шестой партии случился и «косой маневр короля». Только осуществил его чемпион мира: в совершенно ничейном эндшпиле Дэвик, витая мыслями в облаках, просмотрел очевидный ответ Ботвинника и вынужден был немедленно сдаться.

Но до этого были еще долгие годы, наполненные встречами с друзьями, шутками и смехом, волейболом, футболом, шашками, первыми детскими влюбленностями. Но на первом месте были, конечно, шахматы.

Он быстро продвигался по классификационной лестнице: второй разряд, первый, кандидат в мастера. Ему не надо было объяснять очевидную истину – учиться играть в шахматы надо быстро: если долго учиться играть, когда научишься играть хорошо, уже не сможешь играть хорошо.

Дэвик бывал в Доме пионеров едва ли не каждый день, а по воскресеньям часами гонял трехминутки в окружении та-

ких же фанатов, каким был сам. Он легко возбуждался, был переполнен самыми разнообразными идеями, порой блестящими и необычными, порой абстрактными и нелепыми.

Друзья могли прервать его в любой момент: «Хватит тебе, Малец, чепуху молоть...» И Дэвик весело смеялся вместе со всеми. Прошло несколько лет. Бронштейн стал гроссмейстером и кандидатом на мировое первенство, и никто не решался уже повторить Дэвику этих слов.

Витя Хенкин играл в 1939 году с Дэвиком Бронштейном в матче московского и киевского Домов пионеров. Партии протекали на удивление одинаково: в обеих была французская защита, в обеих у Дэвика был перевес, и в обеих он зевнул по ладье.

Семьдесят лет спустя Виктор Львович Хенкин вспоминал: «Дэвик был очень расстроен, едва не плакал. А когда вернулся в Киев, начал мне письма писать, с вырезками из газет, с анализами длиннющими, с рассуждениями, дружбой. Я отвечал, но лениво.

Он писал только о шахматах, а у меня больше девочки были на уме... А потом началась война, и переписка прекратилась. О бланках этих московских партий он у меня потом постоянно спрашивал, уж и не знаю, для чего они ему понадобиться могли.

Был он, конечно, с приветом, не без того. И обидчивый очень. Сказал ему однажды в шутку, когда уже взрослыми были: неужели я, Дэвик, выгляжу так же как ты? Обиделся насмерть. Даже разговаривать прекратил. Так и не говорили несколько лет...»

Хорошо помнит Бронштейна по довоенному юношескому матчу Киев – Москва и Михаил Бейлин: «Был Дэвик очень миленьким мальчиком с черной кудрявой шевелюрой. Во время игры крутил всё время прядку волос, мы еще шутили потом: крутил, крутил, так все волосы и выкрутил. К двадцати пяти годам от пышной шевелюры Бронштейна остались только воспоминания. Все видели: способный невероятно, но уже тогда известно было: хочешь выиграть у Бронштейна – меняй ферзей и в эндшпиль...»

В матче пионеров Ленинграда и Киева в 1940 году Марк Тайманов играл на первой доске. Он тоже вспоминает под-ростка с черными вьющимися волосами и пристальным изучающим взором. Партию Бронштейн быстро выиграл, а за анализом стал сыпать длинными вариантами.

На столике рядом с ним лежали тетрадки, на одной из них была надпись – защита Нимцовича 4.♙с2, на другой – защита Нимцовича 4.е3. Очевидно, это были анализы вариантов модного дебюта.

Но когда Тайманов попросил разрешения заглянуть в записи, его ждало разочарование: страницы тетрадок были девственно чисты. Соперник тут же объяснил: «Тетрадки нужны, чтобы напомнить о дебюте, а всё остальное я и так знаю наизусть». Характерный ответ; Бронштейну было тогда шестнадцать лет.

Большой шумной компании Дэвик предпочитал беседы вдвоем. Эту привычку Давид Ионович сохранил до конца жизни. Корчной объясняет склонность именно к диалогу неважной дикцией Бронштейна.

Мне кажется, что в разговоре один на один ему просто-напросто лучше удавалось завладеть вниманием собеседника и более прицельно вести обстрел оригинальными идеями. Общение было для него своего рода полигоном, на котором он испытывал поток обуревавших его мыслей.

В 1940 году он стал мастером, самым молодым мастером в стране. Утверждал его в этом тогда почетном звании Смыслов.

Василий Васильевич вспоминает: «Был я председателем квалификационной комиссии и прислали мне партии Болеславского и Бронштейна: оба выполнили мастерские нормы. Болеславский имел репутацию уже опытного шахматиста, а вот имя киевского школьника было менее известно. Посмотрел я партии и сказал: “Достоин звания мастера Давид Бронштейн!”»

Нелишне заметить, что председателю квалификационной комиссии самому было тогда девятнадцать лет.

Тренером новых мастеров был Александр Маркович Константинопольский. Разница в возрасте между тренером

и подопечными была не такая большая, и Константинопольский нередко принимал участие в любимой игре Изи и Дэвика: один расставляет на доске какую-нибудь позицию, а двое других должны угадать – в чьей партии встретилось это положение. Угадывали почти всегда: мало было в шахматах того, что было им неизвестно. Знали не только партии, но и результаты турниров, биографии великих и менее великих шахматистов, их характеры, пристрастия.

Сорок лет спустя Давид Ионович рассказывал молодым московским мастерам об участниках Лондонского турнира 1883 года. Он не только давал им шахматные характеристики, но и увязывал дебютные вкусы с гастрономическими предпочтениями маэстро, не забывая упомянуть о привычках и распорядке дня каждого.

Весной 1941 года Дэвик, окончив школу, подал документы на физико-математический факультет Киевского университета. Началась война. В армию его не взяли по зрению, и летом 1941 года Дэвик пешком ушел из Киева, к которому стремительно приближался фронт. После многих мытарств в 1942 году попал в Тбилиси. Постоянной работы не было, продуктовых карточек он не получал. Зарабатывал на жизнь сеансами одновременной игры в госпиталях.

«Порой мой дневной рацион состоял из хлеба и горсти-другой инжира», – вспоминал Бронштейн. Правда, местные шахматисты старались ему помогать как могли. Одно время Дэвик даже заведовал библиотекой (на грузинском языке!).

Осенью 1943 года его отправили в Сталинград: начались работы по восстановлению завода «Красный Октябрь». Выглядел Дэвик как привидение, был истощен, однажды потерял продуктовые карточки, в те годы это означало постоянное, хроническое недоедание.

Шестьдесят лет спустя Бронштейн мог часами рассказывать о войне, ватниках, кирзовых сапогах, тяжелой работе, голоде, холоде. Он жил в конторе строительного треста, спал на столе, питался всухомятку, недосыпал. Последнее, правда, было объяснимо: по ночам Дэвик корпел, разбирая

партии старых мастеров и анализировал варианты королевского гамбита, записывая их мелким почерком на рваных обоях и обрывках картона.

Весной 1944 года он принял участие в своем первом первенстве СССР. Когда из Сталинграда Дэвик приехал в Москву, на нем был выцветший хебешный костюм когда-то зеленого цвета, и едва ли не каждый день председатель Спорткомитета грозил, что не пустит Бронштейна на сцену: неудобно перед публикой.

Его угрозы не достигали цели: у Дэвика просто не было другой одежды. В выходной день он решил отправиться в Большой театр. Когда в ватнике и кирзовых сапогах он появился перед билетершей, его не пустили даже на порог. И этот шрамик остался на поверхности такого ранимого эго.

Хотя двадцатилетний Бронштейн и занял в турнире одно из последних мест, он обратил на себя внимание стилем игры и победой над самим Ботвинником. В следующем чемпионате страны Дэвик занимает третье место – оглушительный успех! Производил впечатление не только результат, но и стиль его побед: Бронштейн играл динамично и агрессивно, не боясь применять острые дебюты, в том числе любимый королевский гамбит.

Несмотря на выдающийся талант Бронштейна, его звезда могла и не взойти, если бы он к тому времени не приобрел могущественного покровителя: Борис Самойлович Вайнштейн, полковник НКВД, возглавлял всесоюзную шахматную секцию.

Присутствие «сильной руки» наверху не такое уж нераспространенное явление, особенно при тоталитарных режимах. Это относится, конечно, не только к шахматам, но и к другим видам спорта или искусства, в зависимости от увлечений патрона.

Главой и покровителем советских шахматистов был комиссар юстиции Николай Крыленко, любитель шахмат и альпинизма.

В Германии Третьего рейха такой фигурой был гаулейтер Польши Ганс Франк, обожавший музыку и шахматы и помогавший во время войны многим шахматистам, в том числе Фрицу Земишу, Ефиму Боголюбову и Александру Алехину.

Когда председатель всесоюзной шахматной секции, заместитель начальника Главного управления оборонительного строительства Наркомата обороны СССР Борис Вайнштейн оказался по служебным обязанностям в Сталинграде, он увидел абсолютно неприспособленного, полуголодного, раздетого молодого человека, бредившего шахматами. Распознав грандиозный талант Дэвика, Вайнштейн добился перевода Бронштейна в Москву и стал его покровителем и защитником.

Хотя сам Вайнштейн, вспоминая то время, скромно замечал: «Не так уж много я для него и делал. Разве что, используя служебное положение, подкармливал, когда была карточная система», – это была лишь малая толика того, чем был обязан своему покровителю Давид Бронштейн. Вайнштейн не только помогал Дэвику материально, но и вел того по жизни.

Это было время, когда выезды за границу зависели от абсолютной чистоты анкетных данных. Англия, Швеция, Финляндия, Чехословакия, Югославия, Венгрия, США. Что означает перечень этих стран, в которых побывал в послевоенные годы имеющий родственников за границей беспартийный еврей Давид Бронштейн, да еще при наличии отца, получившего срок как «враг народа», может понять только человек, живший тогда в Советском Союзе.

Сколько собеседований и проверок на самых различных уровнях, сколько многостраничных анкет с введливыми, невероятными вопросами заполнил Давид Бронштейн. Сколько инструктажей, наставлений, идеологических накаток в райкомах, горкомах, в «Динамо», в Спорткомитете выслушал он! Иногда последней инстанцией, разрешающей заграничную поездку, был ЦК на Старой площади, порой на документах подпись ставил сам Сталин. Такая поездка приравнивалась к выполнению важнейшего задания Родины,

представлять которую было само по себе великой честью, и от посланца отчизны ждали только одного – победы!

Крайне маловероятно, чтобы без такого высокого патрона Бронштейну открыли бы выезд за границу, тем более, в капиталистические страны. Не исключаю: после проверок и собеседований на всех уровнях последней инстанцией был Борис Самойлович Вайнштейн, головой отвечавший за молодого гроссмейстера.

«Люблю этого человека, – признавался много лет спустя Вайнштейн в статье, посвященной его юбилею, – но разве любовь – не высшая мера объективности?»

Увы, самая низшая. Потому она и любовь, закрывающая глаза на многие качества человека, незаметные для любящего. Вайнштейн был старше Бронштейна на семнадцать лет, но отношения между ними походили на отношения отца и сына. Дэвик привык спрашивать совета своего наставника в большом и малом и перенял у него многие манеры и привычки.

Вложив немалую часть души в молодого Бронштейна, волевой и целеустремленный Борис Самойлович Вайнштейн оказал на того огромное влияние, но и создал зависимость Бронштейна от человека, который не только в состоянии избавить от каждодневных забот, но и принять важнейшие решения, которые взрослый человек не должен перекладывать на чьи-либо плечи.

Уверен: в описании извилистой и длинной жизни Бориса Самойловича Вайнштейна (1907–1993) может не найтись места для упоминания его шахматного протекже, но биография Давида Ионовича Бройнштейна окажется не только неполной, но и искаженной без имени его покровителя.

После переезда в Москву Бронштейн жил длительное время на квартире у своего патрона, пока не получил собственное жилье на стадионе «Динамо», где давали пристанище спортсменам, приехавшим из провинции: клетушку с удобствами в конце коридора.

В июне 1945 года Дэвик стал членом спортивного общества министерства внутренних дел «Динамо» и оставался

им без малого полвека. Поселившись на динамовской базе, он постоянно общался с футболистами и хоккеистами, со многими был дружен. Да и те привечали худенького еврейского юношу, а Михаил Якушин – знаменитый футболист и тренер – ласково звал его Давыдкой.

Дэвик приучился бегать легкоатлетические кроссы и даже в пожилом возрасте, облачившись в тренировочный костюм, совершал порой многокилометровые забеги.

В те годы Бронштейн невероятно много работал над шахматами: свет в его камерке горел до поздней ночи. Он анализировал, делал выписки, размышлял над шахматами, играл в турнирах и бесконечные партии блиц.

Выглядел он очень импозантно. Лариса Вольперт до сих пор не забыла Москву 47-го года, чемпионат страны среди женщин, гостиницу «Киевская». Четыре девушки-шахматистки в одной комнате. Вдруг явление: молодой, кудрявый, энергичный, черноглазый – Дэвик Бронштейн. С двумя буханками хлеба, вкус которого она помнит до сих пор.

Период недоедания кончился, но не забылся. Бронштейн в те годы, да и в зрелом возрасте любил поесть и ел необычайно много. Еще живы свидетели, помнящие молодого Дэвика, съедавшего в один присест несколько бифштексов.

«Питаться надо хорошо, это необходимо для работы мозга. Хлеб я ел, хоть и не всегда, во время войны, – говорил Бронштейн, – теперь я предпочитаю другие продукты...»

Но на внешнем виде такое поглощение пищи никак не отражалось: всю жизнь он оставался худым и почти до самого конца был очень подвижным и ходил очень быстро.

После закуртка на «Динамо» Бронштейн получил комнату в коммунальной квартире, и молодой Юра Авербах частенько заходил к нему. Юрий Львович вспоминает, что комната Бронштейна была завалена шахматными книгами, журналами и бюллетенями. Совсем так же, как квартира в Афанасьевском переулке на Арбате, где я бывал полвека спустя.

Его работа в «Динамо» была типичной синекурой: Бронштейн только получал там заработную плату. Это было в порядке вещей в те, да и во все времена в Советском Сою-

зе: жизнь армейских спортсменов высокой квалификации была вольготной. Солдат-радист Бронштейн в дивизии имени Дзержинского не появлялся; его отец раз в месяц аккуратно приезжал туда за солдатским пайком.

Одно время Дэвик числился в пожарной части. Раз в три-четыре месяца там устраивалась проверки, спортсмены заранее о них оповещались. Так было и в мае 1951 года, когда майор, проверявший состав подразделения, выкрикнул его имя.

Мастер Магергут, тоже выступавший за спортивный клуб «Динамо», сделал шаг вперед и четко, как его учили, отрапортовал: «Рядовой Бронштейн отсутствует в связи с игрой в матче на первенство мира по шахматам!»

Авербах утверждает, что за свою долгую профессиональную карьеру не видел никого, кто играл бы молниеносные партии так, как играл Давид Бронштейн в те годы. Признавая, что Петросян, Таль, Фишер были выдающимися мастерами блица, Авербах уверяет, что такой концентрации необычных планов, блистательных атак и нешаблонных решений, какие встречались в партиях молодого Бронштейна, ему никогда больше не довелось видеть.

Но блистал он не только в блице. Один за другим приходят успехи. И какие! Буквально на одном дыхании, он обходит лучших шахматистов мира, в том числе Кереса и Смылова, ближайших конкурентов Ботвинника. В 48–50-м годах Бронштейн дважды делит первое место в чемпионатах СССР, блестяще выигрывает межзональный турнир в Сальтшёбадене, делит победу на турнире претендентов в Будапеште. Выигрывает матч у Болеславского и выходит на Ботвинника. Попутно громя соперников едва ли не под ноль в первенствах Москвы и в матчах, играя за сборную Советского Союза.

Его имя известно каждому, даже людям далеким от шахмат. Тем более, многочисленным любителям игры, спешно хватавшим карандаши, чтобы записать отложенную позицию, старательно выводя за голосом знаменитого футбольного комментатора Вадима Синявского:

«Передаем шахматный выпуск последних известий. Вы приготовили карандаши и бумагу? Записывайте отложенную позицию: Белые – Бронштейн: Король e1 – Король Евгений один, Ладья d2 – ладья Димитрий два, Конь b3 – конь Борис три, Слон c4 – слон цапля четыре, пешки...»

Он – самой молодой гроссмейстер мира! Совсем недавно у Дэвика не было крыши над головой, его не пускали в Большой театр, а сегодня он играет в переполненных залах, слышит аплодисменты публики, на него смотрят как на чудо. Он дает интервью и автографы, он выезжает за границу. А тут еще Борис Самойлович Вайнштейн, уверяющий Дэвика, что Ботвинника можно победить не в одной партии, а в матче, причем разгромить его. Было от чего закружиться голове!

Ницше говорил о полурелигиозном чувстве, приписывающем гению сверхчеловеческие качества. Такое, похожее на суеверие чувство, отчасти полезно для массы, но губительно для гения, считал немецкий философ.

Не осталось оно без последствий и для Бронштейна. Все стали ожидать от него необыкновенных мыслей и ослепительных откровений, и Бронштейн начал вести себя как человек, не похожий на окружающих. Предпосылки к этому были у него уже в детстве, но блистательная шахматная карьера и постоянное внимание к его персоне крайне этому способствовали.

Константин Леонтьев утверждал, что художнику подобает во времена демократии быть аристократом, в условиях рабства проявлять себя либералом, быть набожным в эпоху безбожия и вольнодумцем посреди религиозного ханжества. Словом, всегда идти наперекор общему мнению.

Идеи Бронштейна тоже не соответствовали представлениям большинства, чаще же его мнение не совпадало ни с чьим, кроме его собственного. Хотя он должен был считаться с тем, что окружающая его действительность оставляла

ему очень малое пространство для маневра, он постоянно хотел удивить, сказать что-нибудь необычное.

Это стало его фирменным знаком, а потом он уже просто должен был поддерживать реноме. Именно тогда был создан имидж: Бронштейн – не такой как все. Выделиться, любой ценой отличиться от других и не только на шахматной доске, стало главным мотивом его поведения.

Он так хорошо научился играть роль Бронштейна, которого хотели видеть окружающие, что было уже невозможно понять, где он играет себя, а где – настоящий Бронштейн. Никто не мог быть в точности похож на Бронштейна – стало кредо его жизни, но даже ему самому это не всегда удавалось.

Постоянная обязанность показывать свою исключительность создала очень ранимое эго. Мотив – ну что вы можете рассказать нового, я сам это давно знаю – всегда слышался в наших разговорах.

Коллеги, знавшие его в то время, говорят об одном и том же.

Виктор Корчной: «У него было много причуд, сначала естественных, потом наигранных. Бронштейн понял, что этим интересен и культивировал эти причуды в себе, поэтому разговаривать с ним было интересно, но и очень утомительно: он всегда стремился если не эпатировать, то во всяком случае удивлять слушателя».

Юрий Авербах полагает, что провинциальный мальчик, вдруг ставший кумиром, которому все смотрят в рот, ожидая откровений, начал вещать обо всем на свете с видом знатока: «А мальчик-то гениален только в одной области. Но понимает, что должен говорить что-то значительное, не может повторять мнение всех. У Давида это приняло форму извращенную. Это относилось буквально ко всему, начиная с самых невинных вещей. Если все шли в одну сторону, он шел в другую. Если все заказывали кофе, он отдавал предпочтение чаю и наоборот, если все полагали, что турнир очень силен, он говорил, что не понимает, что это значит, и т.д и т.п.»

Марк Тайманов считает, что у Бронштейна помимо шахмат, где он был действительно велик, не было предпосылок, чтобы считать себя знатоком и в других областях: «Преувеличенное внимание, оказывавшееся Бронштейну в тот период, сослужило ему плохую службу в дальнейшем и нанесло вред его шахматной карьере».

Сам Бронштейн утверждал другое. Следуя принципу, что порой безопаснее, чтобы тебя видели в кривом зеркале, говорил, что носил маску, чтобы ему позволяли многое, что не было позволено другим: «Я даже придумал себе такую шутиливую, слегка чудаковатую манеру поведения – всегда отшучивался, мило улыбался, мне мол всё нипочем... Это не мой характер, это скорее было формой защиты».

Хотя он и повторял, что стал играть роль чудака, оригинала и человека не от мира сего, так ли уж ему надо было перепридумываться? Или он вошел в эту роль настолько, что в конце концов заигрался? Ведь грань между истинной природой человека и ролью, им исполняемой, иногда стирается и для самого исполнителя: человек есть то, чем он хочет казаться, и в конце концов нередко им и становится.

Вспоминается роман Джозефа Хеллера, где дается пример бессмысленной бюрократической логики, загадочно-го правительственного постановления, согласно которому, каждый, кто объявляет себя сумасшедшим, на самом деле, таковым не является, потому что подобное умозаключение способен сделать только человек в здравом уме.

В нем удивительным образом сочетались блестящие оригинальные мысли, философских откровений, порой прозрений, и брюзжание, надоедливые повторы и откровенные нелепицы. Рассуждая о вещах, не связанных с его профессией, он зачастую переходил границу собственной компетенции.

Сократ, побывав у известных политиков, ораторов и художников, заметил: «Все они грешат главным заблуждением: так как каждый из них хорошо знает свое дело, то полагает, что мудр и в других отношениях».

Эта, отмеченная греческим философом черта, нередко встречается и у добившихся успеха шахматистов: превосходство, доказанное в специфическом мыслительном соревновании, порождает чувство, что это превосходство распространяется и на другие области.

Отождествление понятия умный человек и замечательный игрок в шахматы общепринято. Бенедикт Сарнов, например, пишет о Ботвиннике, что «не будь он умным, разве удалось бы ему стать чемпионом мира по шахматам?»

Окружение такого человека нередко только укрепляет подобную иллюзию: не может же человек, превосходящий всех остальных в процессе, связанном с напряженной умственной работой, не обладать такими же способностями и в других областях.

Увы, может. Это специфическая, очень специфическая область деятельности мозга, не связанная напрямую с какими бы то ни было другими.

За обедом у Аптона Синклера жена писателя стала оспаривать какое-то высказывание Эйнштейна. Возмущенная такой наглостью, жена ученого воскликнула: «Как вы можете? Мой муж – величайший ум современности!». На что хозяйка дома невозмутимо ответила: «Но ведь он же не может знать всё!»

Ах, если бы так вело себя по отношению к Бронштейну его окружение. На деле же мысли, высказываемые гигантом игры, казались им такими же значительными, какими бывали его замыслы на шахматной доске. Они настолько пели в унисон с ним, что невольно способствовали созданию у Бронштейна чувства собственного величия и непогрешимости.

Когда мать Дэвика сокрушалась, что сын так и не получил высшего образования, кто-то утешил ее: «Вы хотите, чтобы Давид стал студентом? Разве вы не видите, что он уже профессор?»

Сам он стеснялся своего воспитания, далекого от московского или питерского, с походами в Большой зал Консерватории, Пушкинский музей, Эрмитаж или Филармонию.

Стеснялся и не полученного из-за войны высшего образования.

Отсутствие высшего образования он воспринимал болезненно, и комплекс недоучки, несмотря на немалые знания, приобретенные самообразованием, остался у Бронштейна до конца жизни.

Когда совсем молодой Давид находился еще в сносных отношениях с Ботвинником, он просил чемпиона мира хлопотать за него о приеме в педагогический институт.

Михаил Моисеевич устроил ему настоящий допрос. Выдержит ли экзамены? Станет ли посещать лекции? Осилит ли курс? Дэвик честно отвечал, что будет непросто: шахматы съедают всё время.

«В этом случае мне будет трудно вам чем-нибудь помочь», – вспоминал об этом разговоре Ботвинник, не называя Бронштейна по имени.

В пику Ботвиннику, утверждавшему, что чемпион мира должен быть высокообразованным человеком, оставивший планы получения высшего образования Бронштейн говорил позже, что высшее образование ничего не значит, и наличие его совершенно необязательно для завоевания самых высоких вершин в шахматах.

Жизнь показала правоту Бронштейна: среди борющихся за чемпионское звание в ХХI веке нет никого, кто получил бы высшее образование, да и походы в школу у многих были чисто символическими. Но шестьдесят лет назад высказывания такого рода звучали едва ли не кощунственно.

Михаил Бейлин вспоминает: «Когда я стал говорить Бронштейну, что еще не было чемпионов мира, не получивших высшего образования, реакция Дэвика была очень болезненной: “Никогда не было, говоришь? Не было, так будет!” – повторял он».

Этот разговор состоялся весной 1951 года на Цветном бульваре Москвы во время матча Бронштейна с Ботвинником. Но путь к матчу на мировое первенство начался у Давида Бронштейна тремя годами раньше.

В 1948 году молодой Бронштейн победил в межзональном турнире в шведском Сальтшёбадене. Сборы перед перед соревнованием Давид провел с Исааком Болеславским.

Во время межзонального дружба детства Изя и Дэвик вместе анализировали отложенные позиции и готовились к партиям: у них никогда не было секретов друг от друга. В важной встрече с Сабо Бронштейн применил новинку, придуманную Болеславским, и венгерский гроссмейстер даже не вышел из дебюта.

«Мы с Болеславским дружба еще с довоенных чемпионатов Украины, – вспоминал Давид Бронштейн. – Быть может поэтому, играя в турнирах, мы никогда не чувствовали себя конкурентами, даже если не на шутку боролись за первое место, как, например, в Будапеште в 1950 году. Почти все наши турнирные партии заканчивались вничью. Не то чтобы мы договаривались, нет, этого мы не любили, но особого азарта в борьбе не было».

На самом деле большинство партий дружба «играли» дома или в гостиничном номере, а Болеславский обронил как-то, что на составление партий им требовалось порой больше усилий, чем если бы они играли их по-настоящему.

Бронштейн и Болеславский легко завоевали право играть в претендентском турнире. На турнир в Будапешт (1950) Бронштейн поехал с секундантом. Кто же еще мог им быть, как не Борис Самойлович Вайнштейн! Секундантом Болеславского стал опытный мастер Алексей Сокольский.

Будапештский турнир претендентов – звездный час Болеславского. Играя легко и непринужденно, он выигрывает партию за партией. Перед двумя последними турами Болеславский лидирует, опережая Бронштейна на очко. Учитывая более легкий финиш, его победа кажется обеспеченной.

В 1950 году правила розыгрыша первенства мира не были до конца обговоренными. Муссировалась идея, что в случае проигрыша чемпионом мира матча на мировое первенство, играется тройной матч-турнир – новый чемпион, проиграв-

ший и победитель очередного цикла турнира претендентов. Конечно, в случае победы Болеславского и Бронштейна ситуация была бы совсем другой, но Вайнштейн полагал, что ему удастся и в случае дележа первого места в претендентском турнире организовать тройной матч-турнир – чемпион мира Ботвинник, Болеславский и Бронштейн.

Именно Вайнштейну пришла в голову идея дать шанс Бронштейну догнать лидера турнира. Для этого Болеславский должен был согласиться на ничью в двух последних партиях. Тогда в случае побед Бронштейна над тем же Штальбергом, и над Кересом в последнем туре, друзья делили бы первое место.

Добродушный Болеславский согласился на предложение, хотя его секундант Сокольский был крайне разочарован и не скрывал этого: почему бы не побороться за чистое первое место, тем более что Гидеон Штальберг крайне неудачно играл в турнире, а у Болеславского были против него белые.

В книге «Импровизация в шахматном искусстве» Вайнштейн немало пишет о ситуации, сложившейся на финише турнира, но ни словом не упоминает о своей просьбе к Болеславскому. Вместо этого он пытается дать «логическое» обоснование его короткой ничьей с аутсайдером Штальбергом для ничего не подозревающих читателей: «Мог ли Болеславский ставить под удар результаты своего великолепного творчества, результаты сорока дней борьбы? Чего он мог достичь в случае связанной с большим риском победы? Первого места. А если сразу делал ничью? То же первое место или в крайнем случае дележ.

В победу Бронштейна над Кересом он не верил, во всяком случае, это было маловероятно. Ну, а если бы в погоне за выигрышем у Штальберга, он сам потерпел поражение? Ведь Штальберг не такой гроссмейстер, у которого можно взять очко по заказу только потому, что очень уж хочется выиграть. А в данном случае в этой ничьей со Штальбергом была заложена и более глубокая идея: победителю турнира в Будапеште предстоял матч с Ботвинником, и если победи-

телей будет двое, то они сначала сыграют матч между собой.

Совершенно не исключено, что Болеславский не возражал бы сначала сыграть матч с Бронштейном, чтобы проверить себя перед матчем на первенство мира. Это была бы прекрасная тренировка. Ведь если Болеславский вступал в борьбу с чемпионом мира, то у Бронштейна он наверняка должен был выиграть. Вполне понятно, что шахматисты, когда они поставлены в условия непрерывного отбора, действуют как спортсмены, думающие не о красоте шахмат, не о разрешении драматических коллизий, а о числе очков, о занятом месте, о праве на дальнейший отбор».

И многозначительно заключает: «Именно в этом причина того, что в последних турах отборочных турниров бесцветные ничьи и ничьи по уговору всё еще встречаются. И, добавим, не только ничьи, и не только в последнем туре».

Рядовому любителю словесный водопад Вайнштейна и его многозначительные намеки мало что говорили, но для участников турнира претендентов случившееся в последних турах было секретом Полишинеля.

Более откровенен был Бронштейн, пусть и спустя четыре десятка лет после описываемых событий: «Две последние партии претендентского турнира в Будапеште Болеславский, опережая меня на очко, на выигрыш играть не стал, а мне удалось выиграть у Штальберга и у Кереса и догнать его. У Болеславского были свои обязательства передо мной: в ходе турнира он попросил меня найти ничью в трудной отложенной позиции против Смыслова: у его тренера Сокольского ничего не получалось. Потом попросил не играть с ним на выигрыш. Я ничью нашел, на выигрыш играть не стал. К тому же он имел с Ботвинником катастрофический счет: семь поражений без единого выигрыша. В сущности я спас его репутацию, победив его в дополнительном матче — Ботвинник мог просто разгромить его...»

Обидные для Болеславского объяснения сделаны Бронштейном, когда друга юности уже не было в живых. Объяснения очень натянутые, больше похожие на извинения, и это понимал сам Бронштейн.

Уже в Будапеште он чувствовал себя не в своей тарелке, но когда заговаривал об этом с Вайнштейном, тот успокаивал его: «Ничего, Давид, мы поможем Болеславскому выиграть следующий турнир претендентов, и вы проиграете ему матч. И он тоже будет чемпионом мира...» (?!?! – Г.С.)

Вайнштейн вспоминает и о конфликте Котова с главой советской делегации Виктором Гоглидзе: «Котов заявил, что приехал Вайнштейн из НКВД и распределяет очки между евреями, в чем ему помогает Гоглидзе». Имелся в виду проигрыш Флором обеих партий Бронштейну, не выигрыш Лилиенталем у Бронштейна явно лучшей позиции, но главное – две короткие ничьи лидера на финише, произведшие на всех странное впечатление. Дело дошло даже до посла Советского Союза в Венгрии, поддержавшего Котова.

«Смешно было утверждать, что аргентинец Найдорф, тоже проигравший обе партии Бронштейну, или Керес, которого Бронштейн победил в последнем туре (и догнал Болеславского), попали в орбиту моего “распределения очков”», – писал Вайнштейн, когда о событиях того времени стало возможным говорить открыто.

И откровения Вайнштейна, и рассуждения Бронштейна трудно комментировать спустя шесть десятков с лишним лет, но они очень симптоматичны для нравов, царивших в советских шахматах того времени.

Отношения между обоими победителями турнира претендентов для Ботвинника не были, конечно, секретом.

«Партия в Сальтшёбадене в 1948 году – “филькина ничья”».

«Партия в первенстве страны 1949 года – “Дружеская ничья. Почти повторили известную партию Рюмин – Рагозин. Доехали до 20 хода”».

«Будапешт 1950 года – “Составленная быстрая ничья с многочисленными разменами”».

Это записи из дневника Ботвинника о партиях, иггранных Бронштейном с Болеславским.

Никакого тройного матча Ботвинник – Бронштейн – Болеславский, на что втайне надеялся Вайнштейн, организовано, конечно, не было, и друзья должны были играть друг с другом за право встретиться с Ботвинником. Матч состоялся в 1950 году в Москве в Доме культуры железнодорожников. Перед началом первой партии соперники, следуя наказу Вайнштейна, обменялись букетами цветов.

Бронштейн замечает, что это был единственный случай в истории шахматных состязаний. Вероятно. Более нелепого зрелища трудно себе представить: двое взрослых мужчин вручают друг другу цветы перед поединком, который пытаются преподнести публике как большой шахматный спектакль.

Исаак Ефремович Болеславский обладал незаурядным шахматным талантом, но характер его был далек от бойцовского. Перед началом матча он говорил другу: «Дэвик, ну зачем мы играем этот матч, мы же обречены против Ботвинника».

Счет с Ботвинником у Болеславского действительно был катастрофическим ($-7=4$). Подогреваемый Вайнштейном Бронштейн, уже побеждавший чемпиона мира, думал по-другому, и было очевидно, что его шансы с Ботвинником много выше.

Матч из двенадцати партий внешне проходил в упорной борьбе: соперники выиграли по две партии, завершив остальные вничью. Теперь по регламенту борьба должна была вестись до первой победы. В первой дополнительной партии преимущество переходило из руки в руки, на 55-м ходу Болеславский, сделав самый естественный ход, мог немедленно выиграть, но избрал другое продолжение, и дело закончилось миром.

14-я партия оказалась последней: Бронштейн черными быстро добился победы и завоевал право играть матч с Ботвинником. Такова фактическая канва событий. На са-

мом деле всё происходило не совсем так. Вернее, даже совсем не так.

Исаак Ефремович Болеславский в доверительной беседе с земляком и любимым учеником Альбертом Капенгутом рассказывал, что немного партий этого матча действительно игралось, а для пушей убедительности в последней партии пришлось пожертвовать даже важной новинкой, придуманной воспитанниками Киевского Дома пионеров.

«Думаю, что Исаак Ефремович был не очень расстроен, проиграв мне матч, скорее наоборот. Проиграв матч он в какой-то степени испытал облегчение», – вспоминал Бронштейн. Проверить это невозможно. Не исключая: Болеславский испытал облегчение в первую очередь оттого, что вообще прекратился этот тягостный для него поединок, и трудно сказать сегодня, сколько партий этого матча действительно игралось.

Вспоминает Капенгут: «Тема турнира претендентов и этого матча с Бронштейном была крайне неприятна Болеславскому, и когда однажды еще раз зашел разговор о нем, Исаак Ефремович только замахал руками, разразившись цитатой из Шеридана: “Продано! Продано! Продано!”»

В книге Вайнштейна «Импровизация в шахматном искусстве» об этой важнейшей вехе в спортивном пути Бронштейна нет ни слова, как будто матч никогда не игрался, и только в разделе партий приведена первая партия матча, снабженная чисто шахматными комментариями.

Мне кажется, что и финиш турнира претендентов, и последующий матч с Болеславским, внесли еще больший дискомфорт в душевное состояние Бронштейна. Пусть всех подробностей заключительных туров претендентского турнира и матча с Болеславским не знали миллионы любителей игры, Давид Бронштейн прекрасно знал обо всем и от этой оскомины так и не смог избавиться.

Сказал в конце жизни: «Сейчас, спустя много лет, я сомневаюсь в справедливости моей победы над Болеславским. Хотя, возможно, этим я спас своего друга от унижительного разгрома в матче с Ботвинником, что могло стать для него

настоящей катастрофой. Однако, не выиграв матч у Ботвинника, я бросил тень и на свою шахматную карьеру».

За два месяца до начала матча с Ботвинником Яков Нейштадт встретил Бронштейна в переходе московского метро: «Готовишься?»

Хитро прищурившись, Дэвик ответил вопросом на вопрос: «У тебя кролики когда-нибудь были?»

« ???...??? »

«Они ведь всё время шевелят чем-нибудь, ноздрями, ушами. Так вот и я готовлюсь...» И пошел своим путем, одарив Нейштадта загадочной улыбкой.

Спросил у Григория Яковлевича Левенфиша, давнего недруга Ботвинника, что бы тот посоветовал ему для успешной игры в матче.

«А вы повесьте над кроватью фотографию Ботвинника и каждое утро, проснувшись, разглядывайте ее, приучайтесь. Вам ведь придется два месяца кряду смотреть на эту физиономию...»

По Москве ходили упорные слухи, что Бронштейн так и поступил и каждое утро начинает с того, что подолгу смотрит на лицо предстоящего соперника, а кое-кто утверждал, что психологический сеанс заканчивается смачным плевром...

В 1991 году во время кандидатских матчей в Брюсселе журналист, интервьюировавший Ботвинника, спросил, правда ли, что он повесил над кроватью фотографию Бронштейна и каждое утро, проснувшись, первым делом плевал в нее. «Это абсолютная чепуха, – решительно сказал Патриарх. – Насколько я знаю, это Бронштейн повесил мою фотографию у себя над кроватью. Впрочем, я сомневаюсь, что он плевал в нее...»

Когда я однажды прямо спросил об этом Бронштейна, он подтвердил наличие фотографии, но потом, улыбнувшись, увел разговор в сторону.

Уже на закате жизни Вайнштейн утверждал: «В 1951 году перед матчем на первенство мира Ботвинник поставил ус-

ловие, чтобы я не был секундантом Бронштейна. Иначе он играть не будет. Я сказал Зубареву (шахматный начальник СССР в те годы – Г.С.) – Ботвинник понимает, что выиграть у Давида он не может и ищет предлог сорвать матч. Поэтому не возражайте ему... Будь я секундантом (а Бронштейн хотел настаивать на этом), Ботвинник никогда бы не сделал ничью в этом матче. И Ботвинник знал это!»

Трудно сказать, почему Вайнштейн добровольно ушел на вторые роли. Конечно, в зале была специальная ложа общества «Динамо», членом которого являлся претендент, конечно, на матче бывал министр госбезопасности, несколько раз разговаривавший с Бронштейном, но кому благоприятствовали власти в действительности?

Слишком велик был авторитет Ботвинника, не говоря о его несравненно более чистой биографии по сравнению с протее Бориса Самойловича. И если бы Бронштейну удалось выиграть матч, не оказался бы Вайнштейн в уязвимой позиции? А люди, работавшие там, где работал он, должны были просчитывать ситуацию на много ходов вперед.

В Советском Союзе того времени имена Маяковского, Мичурина, Улановой, Ботвинника стали символами и, конечно, имя гроссмейстера-орденоносца, члена партии, ученого, вписывалась много лучше в канонические советские святцы, чем имя Бронштейна.

Как чемпион мира по шахматам Ботвинник был для властей более желательной фигурой, чем непредсказуемый строптивый Бронштейн, к тому же с его сомнительными анкетными данными.

Но в отличие от литературы, музыки и науки спорт имел свою специфику. Хотя власти могли способствовать или наоборот препятствовать карьере спортсмена, они не могли не считаться с фактами: счетом на табло, самыми быстрыми секундами, самыми тяжелыми килограммами.

Поэтому в истории советского спорта можно встретить немало имен футболистов, хоккеистов, легкоатлетов и конькобежцев, своенравным поведением явно не вписывав-

шихся в эталон примерного гражданина СССР. Не могли бы власти не считаться и с Бронштейном, если бы тот победил в матче на мировое первенство.

Хотя официально Вайнштейн не имел на матче никаких функций, он был мозговым центром команды претендента. Пару раз Борис Самойлович даже оставался ночевать в гостинице «Пекин», одно крыло которой было всегда в распоряжении министерства госбезопасности.

Бронштейн, занимавший во время матча огромный номер в «Пекине», частенько завтракал, обедал и ужинал у Вайнштейна. Ведь он жил у него на квартире длительное время, к нему все привыкли, считая почти членом семьи.

Официальным секундантом Бронштейна на матче стал его первый тренер Александр Константинопольский. В тренерскую бригаду входил и Семен Фурман – известный ленинградский теоретик. Хотя Исаак Болеславский официально не имел никакого отношения к матчу, он тоже находился в Москве и факт его помощи старому другу Дэвику, не был, конечно, секретом ни для кого.

Абрам Хасин, помогавший Бронштейну до матча, вспоминает, что получал от него и от Вайнштейна задания проанализировать варианты французской, староиндийской защиты.

Хасин: «Дэвик был настроен чрезвычайно оптимистично, был уверен, что борьба будет решена в миттельшпиле, до эндшпиля дело не дойдет и эндшпилем, всегда являвшимся его слабой пятой, не занимался совершенно».

Ботвинник никогда не относился к Бронштейну серьезно. В его дневнике преобладают негативно-иронические отзывы о стиле будущего соперника: «типичный крутильный (не стремительный) шахматист», «неврастеник и, вероятно, страдает от навязчивых идей, но весьма работоспособен», «крутежный шахматист», «выкрутил пешку», «всё время 2-3 ходовые трючки», «кафейная жертва ладьи», «есть ли

у него настоящая гроссмейстерская техника?», «смело, но сумбурно – ловит рыбку», «в позициях без инициативы играет слабо», «Рагозин прав – 1. Аналитических схем нет. Играет просто сложные системы на запутывание. 2. Черными всегда приемлет ничью. 3. Любит размены. 4. В цейтноте врет». Это записи различных лет из дневника Михаила Ботвинника.

Перед партией с Бронштейном в чемпионате страны 1945 года появилась запись: «играть с легкой иронией», а после разгрома, учиненного Бронштейном Холмову на первенстве страны 1949 года: «Испанская с 3...f5. Какое безобразие! Не свидетельствует ли о том, что он стремится к тому, чтобы запутать, а подготовленных схем нет? Что-то вроде Решевского или Капы?»

Ботвинник не понимал, что Бронштейн не просто одаренный тактик и ловушечник, а незаурядный, исключительно изобретательный гроссмейстер, прекрасно чувствующий динамику и моментально реагирующий на смену обстановку на доске. К тому же Бронштейн был прекрасно наигран, победив в послевоенные годы почти во всех соревнованиях, в то время как Ботвинник не играл перед матчем целых три года.

Такое могло сойти с рук во времена Ласкера и Капабланки, но не в середине XX века, а тренировочные партии и занятия, которые возобновил Ботвинник за несколько месяцев до матча, не могли компенсировать столь долгий отрыв от практики.

Столкнувшись с непривычным соперником, в манере игры которого превалировал игровой, импровизационный элемент, Ботвинник пережил немало неприятных минут.

После матча он признал это сам: «Бронштейна я недооценил, а, может быть, недооценил опасности, которые были связаны с трехлетним отрывом от шахмат. Будь Бронштейн силен в эндшпиле, я, конечно, проиграл бы ему матч. Кроме того, мне на пользу были человеческие и спортивные качества претендента: стремление к чудачеству, позерство, наи-

вность в спортивной тактике и т.д. Это была трудная борьба, я лично надеюсь извлечь пользу из опыта данного матча, и мне остается только поблагодарить партнера за доставленный урок».

Матчу предшествовали затяжные переговоры. Бронштейн спорил с президентом ФИДЕ Фольке Рогардом по многим пунктам регламента, так что Рогард вынужден был порой прибегать к последнему аргументу: «Пожалуйста, Давид, согласитесь, ведь мы устанавливаем правила на пятьдесят лет».

Тактика несоглашения была подсказана Бронштейну Борисом Самойловичем Вайнштейном, полагавшим, что его подопечный не должен уступать чемпиону мира и пяди. Такая тактика только усугубила и без того напряженные отношения между соперниками.

Была ли она правильной? Девять лет спустя двадцатитрехлетний Таль с улыбкой принял абсолютно все условия чемпиона мира, лишив того важнейшего психологического козыря – жестких, колючих отношений с соперником, характерных для всех матчей Ботвинника.

Отдельно обсуждалась туалетная проблема, впервые возникшая в переговорах о матчах на мировое первенство по шахматам. Походы в туалет с сопровождающим должны были начаться не в Лондоне 2000 года на матче Каспарова с Крамником, а за полвека до того.

Но когда Ботвинник предложил, чтобы в туалет во время игры вместе с участником непременно отправлялся бы кто-нибудь из команды соперника, Бронштейн остроумно парировал: «В обществе “Динамо” не найдется человека для подобного рода походов», и вопрос отпал как-то сам собой.

В древнем Тибете у гонцов, имевших при себе письменное послание, был еще один вариант – устный, причем содержание обоих сильно отличалось друг от друга. Если гонец оказывался в руках разбойников, те могли воспользоваться посланием к своей выгоде, поэтому укоренился

обычай писать заведомо ложные письма, чтобы в свою очередь завлечь в западню недругов. Меры предосторожности, принятые Ботвинником во время матча с Бронштейном, не уступали древнетибетским.

Опасаясь, что Борис Самойлович Вайнштейн может пустить в ход приемы зловещей организации, чемпион мира разработал собственные методы защиты. Звонок в квартиру Ботвинника работал, но дверь открывалась только на особый стук.

Михаил Моисеевич запретил своим помощникам, если речь заходила о шахматах, говорить по телефону открытым текстом, но, даже находясь у Ботвинника дома, все должны были общаться, прибегая к какому-то диковинному шифру.

К чемпиону мира допускались только абсолютно проверенные люди, «чемоданосцы», как их называл Левенфиш. Но даже они делились на «подвиды». Совершенно безоговорочно Ботвинник доверял только Рагозину и Гольдбергу, которых знал еще по Ленинграду своей юности.

В разные периоды ему помогали Кан и Флор, но с ними он не был абсолютно откровенен и держался настороже. Именно к матчу Ботвинника с Бронштейном относится история, когда Саломон Михайлович Флор всю ночь анализировал отложенную позицию, доложил чемпиону мира результаты анализа, отправился вместе с ним на доигрывание, чтобы за пару минут до возобновления игры узнать, что тот записал иной ход.

Бронштейн длительное время жил у Вайнштейна, и можно представить, что единомышленники говорили не только о партиях Андерсена и Филидора.

Если Бронштейн откровенно приводит слова Вайнштейна, что когда он, Дэвик выиграет матч у Ботвинника, «мы поможем Болеславскому тоже стать чемпионом», можно только догадываться, какие беседы остались за кадром. Разборам шахматных кланов, получаемым привилегиям, заговорам, сплалам, подсказкам, действительным и мнимым, без всякого сомнения, посвящалось не меньше времени.

Михаил Моисеевич не забывал своих обидчиков и помнил, кто и что сказал или написал о нем на протяжении всей жизни. Давид Ионович тоже собирал и хранил все высказывания о себе и не забывал ничего.

Случалось, обидчики меняли свое отношение к нему, и соответственно менялось к ним отношение Бронштейна. Он крайне нелестно отзывался об Анатолии Карпове, пока двенадцатый чемпион мира, встретив Бронштейна где-то за границей, не начал расспрашивать его о жизни, здоровье и вообще был сама любезность.

Бронштейн тут же сменил гнев на милость: «Справедливости ради, скажу, что с годами он стал играть интереснее, да и как человек, по-моему, изменился в лучшую сторону».

Имя тринадцатого чемпиона мира Бронштейн в наших разговорах упоминал обычно в сочетании «банда Каспарова» и только в конце жизни начал говорить о нем крайне уважительно. Причина проста: Каспаров написал в высшей степени комплиментарное предисловие к книге Давида Ионовича.

Спустя сорок лет после матча с Ботвинником Бронштейн повстречал на турнире в Испании Виши Ананда. «Я сразу вспомнил, как он встретил меня на молодежном турнире в Океме, — пишет Бронштейн, тренировавший в этом маленьком городке английских юниоров. — Мы уже, наверное, были знакомы, потому что Ананд с ходу спросил: “А вы что здесь делаете?” Испугался конкуренции, что ли?» — недоумевал Давид Ионович.

И в подозрениях Ботвинника, и в логике Бронштейна было немало параноидального, но не было ли больным паранойей кажущееся сейчас параноидальным время, тавро которого было выжжено на обоих?

От микробов недоверия и подозрительности, оставленных в наследство той эпохой, ни Ботвинник, ни Бронштейн так и не смогли избавиться до конца жизни.

Матч начался 16 марта 1951 года в Москве, в Концертном зале имени Чайковского, и вызвал небывалый ажиотаж.

Объяснение очевидно: с одной стороны – это был матч на первенство мира в стране, где шахматы были фетишизированы, с другой – «железный занавес», воздвигнутый между Советским Союзом и Западной Европой, делал Москву крайне скучной на какие-либо зрелища вообще.

Не буду описывать ход поединка, скажу только, что за Бронштейна, как и за Таля девять спустя, болели почти все молодые. И не только. Александр Жолковский вспоминает, как его отец, доктор музыковедения, первокаатегорник, побывал на девятой партии этого матча: «Папа отдавал должное совершенствам Ботвинника, как и он, доктора наук, до зубов вооруженного теорией, но его – да и многих, в том числе и меня, – волновал вызов, вновь и вновь бросаемый воплощению шахматного истеблишмента хрупким, неровным, непредсказуемым Бронштейном.

Папа пришел возбужденный тем, как Бронштейн, потеряв фигуру и неясно на что надеясь, продолжал защищаться с такой неистовой изобретательностью, что Ботвинник, видимо ошарашенный его дерзостью, в конце концов согласился на ничью. Впечатление, сказал папа, было сюрреальное, на грани провокации, как будто Бронштейн, держась за потолок, опровергал все законы природы и общества».

Несколько лет назад были опубликованы дневниковые записи Ботвинника во время матча.

«Не смотреть на него».

«Помнить характеристику этого хитреца. Не смотреть на него».

«Помнить, с кем имеешь дело...»

О себе: «В общем – шляпа!»

«Играл тяжело и плохо. Зевков хватает. Сплошное шлепанье».

«Внимательно считать – не верить ему – он может просчитаться. Жать до конца!»

«Упираться он не умеет».

«Зря верил ему, он брал меня на пушку».

«Он взял меня на пушку! При доигрывании он сделал первый же ход пижонский, а я не взял пешки!!! Кошмар!!! Мораль – анализировать самому, а секундантов только выслушивать».

«Помнить, что партнер может и должен врать. Вперед!»

«Недостаток Бронштейна можно еще дополнить – необоснованный отказ от позиций с контригрой у партнера!!! (пугается!)».

«Всё же “Бр.” шаблонен, хотя ловок, как Романовский».

Снова о себе: «Играл отвратительно: плохая подготовка (как идиот отказался от французской) израсходовал кучу времени и с каждым ходом наигрывал. Случайно он попался в ловушку – после этого я играл как Филя в дуду. Кошмар!»

«Филя, играющий в дуду» – комментарий к собственной игре Ботвинника, встречающийся в его дневнике не раз.

«Ужас – 1) Цейтнот, 2) слабый анализ (стыд)».

«Шлепал».

«Ужасно сыграл».

«Под конец сыграл как идиот».

«Потерял голову».

«Стыдно!»

«Играл плохо – спасся чудом».

«Неужели я ослабел? Вперед! Стыдно!»

«А ведь стыдновато плохо играть!»

Перед 22-й партией: «Хладнокровие и напор – Отечество в опасности!»

Эта последняя запись Ботвинника. До дневника ли было – дом горел!

Блестяще выиграв 22-ю партию, Бронштейн повел в счете 11,5 : 10,5. Коронавание нового чемпиона казалось неизбежным.

После победы в 22-й партии Бронштейна вызвали в ложу МГБ, где министр госбезопасности и шеф «Динамо» Виктор Абакумов поздравил его с победой и пожелал удачи в матче.

Еще несколько дней назад Бронштейн отставал от Ботвинника на очко, теперь же, выиграв две партии кря-

ду, повел в счете. Ему достаточно сделать две ничьи, чтобы стать чемпионом мира.

Перемена произошла столь стремительно, что сам Бронштейн не мог осознать случившегося. Поздним вечером того же дня он пришел к своему патрону, на протяжении всех послевоенных лет неустанно твердившему Давиду, что тот может и должен сокрушить Ботвинника.

Все министерства в сталинское время работали до глубокой ночи: вождь мог позвонить в любую минуту. Тем более не гас свет в окнах министерства, в котором работал Вайнштейн.

Полвека спустя Бронштейн вспоминал, как спросил тогда: «Борис Самойлович, я что, матч выигрываю?» «Да, Давид, – хладнокровно подтвердил Вайнштейн, – это так». «А я, – сказал Бронштейн, – не хочу».

Невозможно проверить, конечно, детали этого разговора поздним майским вечером 1951 года в кабинете полковника МВД в Москве, но что Бронштейн правильно передает свое состояние перед двумя последними партиями матча, не вызывает сомнений.

Александр Маркович Константинопольский вспоминал, что когда на следующий день команда Бронштейна сидела за обедом в ресторане гостиницы «Пекин», Дэвик вдруг стал нести нечто невразумительное. Привыкшие к его оригинальничанью коллеги сразу почувствовали: здесь – другой случай. На помощь была призвана медицина и Бронштейна на машине отправили в поликлинику организации, где работал Борис Самойлович Вайнштейн. К вечеру его привели в себя, а на следующий день он играл злополучную 23-ю партию, о которой вспоминал потом всю жизнь.

По существующим тогда правилам участник матча имел право на три тайм-аута. Хотя получение свободного дня должно было быть официально подтверждено врачом, процедура осмотра фактически являлась формой.

Десятилетия спустя Бронштейн писал, что ни он, ни Ботвинник ни разу не воспользовались правом на тайм-аут, ставя это в заслугу обоим. Как посмотреть. Наверняка после 22-й партии следовало сделать передышку, прийти в себя, успокоиться, наконец, еще нагляднее продемонстрировать чемпиону мира отчаянное положение, в котором тот находится. Тем, кто был рядом с Бронштейном, не хватило смелости или мудрости объяснить ему это, а сам он, находясь в состоянии перевозбуждения, просто не понял огромной важности момента.

Он не понял, что уже не место примеркам и прикидкам, что он, Давид Бронштейн, должен сделать это последнее усилие, – без всяких зачем и почему, и сейчас, а не когда-нибудь в будущем. Он не понял, что следующего раза может и не представиться. Момент этот никогда больше не повторился и кровоточил в его сознании вплоть до последних дней декабря 2006 года.

Много раз по ходу игры Бронштейн мог добиться ясно ничейной позиции, мог сделать ничью и после неудачного хода, записанного Ботвинником, но, пройдя мимо всех возможностей, проиграл.

Когда партия была отложена, и впереди была целая ночь для анализа, Давид Бронштейн не понял, чем эта ночь отличается от всех других ночей. Даже сейчас еще не было поздно взять тайм-аут для анализа, что не раз делал Виктор Корчной в аналогичных ситуациях. Отложенную позицию Бронштейн проанализировал крайне небрежно, а ход, записанный Ботвинником, почти не смотрел.

Он вспоминал, что «секунданты считали, что Ботвинник наверняка записал лучший ход ♖b1, и только Вайнштейн смотрел со мной ♙d6, даже остался ночевать в гостинице, хотя жил за углом...»

Помощники Бронштейна дают несколько другую версию событий: они не раз звонили ему в гостиницу, но не могли найти Дэвика. И только утром, перед дверьми ЦШК на Гоголевском, где проходило доигрывание неоконченных

партий, им удалось встретиться и впопыхах рассказать Дэвику о результатах анализа.

Исаак Ефремович Болеславский очень обиделся тогда на Бронштейна: старый друг Дэвика терпеть не мог халатного отношения к делу. Ведь ставкой был титул чемпиона мира, и он, Болеславский, был причастен к этому, может быть, больше, чем кто-либо другой.

Бронштейн проиграл отложенную партию, но не всё еще было потеряно: в последней партии у претендента были белые.

Ажиотаж в Москве достиг высшей точки. Казалось, все только и говорят о шахматах. Александр Безыменский пишет на скорую руку стихотворение, посвященное этому событию. Не будем давать ему оценку с точки зрения чистой поэзии, просто приведем его полностью.

«Перед последним туром»

Ботвинник? Бронштейн?

Да или нет?..

Молчит гроссмейстер с видом хмурым.

Нельзя поспешный дать ответ

Сейчас, перед последним туром.

Весь разговор всех москвичей

Прикован к двум кандидатурам.

Пожар любви, пожар страстей

Могуч перед последним туром.

Среди болельщиков – раздор.

Да что ты мелешь,

Насмех курам!

Особо жаркий, бурный спор

Кипит перед последним туром.

Иной чужак бежать готов

В аптеку экстренным аллюром,

Чтоб валерианки полный штоф

Купить перед последним туром.

Волнуясь, даже чересчур,

Как нежным свойственно натурам, –
 Два драматурга, братья Тур,
 Дрожат перед последним туром.
 Я рассмешить не смог друзей
 Своим веселым каламбуром.
 Их лица стали вдруг темней,
 Чем ночь перед последним туром.
 Друзья столпились вокруг меня,
 Подобно шахматным фигурам,
 И я попал, судьбу кляня,
 В цугцванг перед последним туром.
 Они сказали: – Спрячь язык!
 Таким смешливым балагурам
 Пора бы в зеркало на миг
 Взглянуть перед последним туром.
 Ты весь в огне. Домой скорей!
 Тебе, на пару с Реомюром,
 В постели надобно своей
 Лежать перед последним туром!
 В момент исчезло озорство...
 Стоял я робким и понурым,
 Сказав: – Да это оттого,
 Что у меня у самого...
 Что я... ну, этого... того...
 Трясусь перед последним туром!

Утром 11 мая в день 24-й партии Бронштейну звонил сам Абакумов и просил передать, чтобы Давид ни в коем случае не соглашался на ничью и играл только на выигрыш. Но ни всесильный министр госбезопасности, ни кто-либо другой уже не могли изменить ход шахматной истории.

Бронштейн не выиграл последней партии, час пробил, стрелки сошлись на двенадцати, застыв навсегда на итоговых цифрах матча **12:12**.

Ботвинник сохранил за собой чемпионский титул.

В новелле Борхеса герой говорит, что, обдумывая какое-либо действие, надо представить, что ты его уже осуществил и превратить таким образом будущее в настоящее. По всей видимости в начале пути Бронштейн не задумывался, что предстоит ему, если удастся достичь конечной цели – сокрушить Ботвинника и стать эталоном советских шахмат.

Конечно, свобода молчать была самой меньшей свободой в то наполненное пропагандой время, но и ее он был бы лишен, если бы стал чемпионом мира.

Когда осуществление великого замысла оказалось совсем реальным, Бронштейн заколебался. Увидев подкову, лежащую на обочине дороги, он засомневался, что будет, если он поднимет ее. Итоги этих сомнений известны: подкову поднять не удалось, и он в течение полувека не устал повторять: – жалкая половинка очка – и какая разница!

Перелистывая страницы шахматной истории, как и истории вообще, следует признать, что у прошедших событий могли быть альтернативы. Общеизвестен пример с Наполеоном, воспользовавшимся густым туманом и проплывшим сквозь эскадру сторожившего его Нельсона. Если бы не было тумана, не было бы Тулона, Бородинской битвы, «Войны и мира» и т.д. и т.п. Примерам такого рода несть числа.

«Подумайте, дело ведь только в одном ходе коня, и какая гигантская разница! Я ведь видел правильный ход 43...♘a7 при доигрывании, видел! А ведь история шахмат могла бы пойти совсем по иному пути из-за одного только хода коня на другую клетку!» – не раз восклицал Бронштейн, прибегая к сослагательному наклонению, столь категорически отвергаемому историками.

Когда при Конан Дойле начинали говорить о Шерлок Холмсе, писателю это очень не нравилось: «До чего мне надоело считаться автором одного только Холмса, я ведь в литературе сделал кое-что и кроме него». Когда журналисты

снова и снова расспрашивали Бронштейна о подробностях матча с Ботвинником, Бронштейн тоже очень раздражался, указывая, что Бронштейн в шахматах – это не только матч с Ботвинником, но и многое другое.

Это верно, конечно. Но что поделать, если в памяти остаются реальные достижения. Ведь еще в древней Греции знали, что деяния – сущность жизни, речения – ее прикрасы; высокие дела остаются, высокие слова забываются.

Так уж устроена жизнь: кто помнит имя кандидата от демократической партии США в 2004 году, хотя тот набрал только на пару тысяч голосов меньше Джорджа Буша, в то время как имя президента Соединенных Штатов навсегда вписано в историю.

В истории шахмат тоже остаются победители, а имена побежденных, или сыгравших матч на мировое первенство вничью, пишутся петитом, если не забываются вовсе.

Победителям, как правило, присущи терпимость и великодушные. Менее удачливые утешаются поисками причин неудавшегося, и нечасто имеет место безжалостная критика самого себя. Так было всегда – потребность в самооправдании принадлежит к числу базовых инстинктов, и Бронштейн не явился исключением.

Забывая азбучную истину, что несколько оправданий всегда звучат менее убедительно чем одно, Бронштейн находил в невыигрыше матча немало козлов отпущения: излучающего ненависть соперника, атмосферу того времени, боязнь за отца, секундантов, манкировавших своими обязанностями, прогулками с девушкой, безразличной к его судьбе, тяжелыми условиями жизни.

«В том, что я плохо доигрывал отложенные позиции, большая доля вины лежит на моих секундантах, выбор которых был очень неудачен, – говорил Бронштейн. – Но подбирал их не я, а общество “Динамо”. Они оказались очень разными людьми. Я им всем еще говорил: “Неужели так трудно проанализировать позицию до ясного конца?” Они не давали мне играть дебюты, которые я хотел играть, староиндийскую защиту, например.

Говорили – так нельзя играть с Ботвинником. А с ним так только и нужно было играть. Да и 1.e4 надо было ходить, в открытую игру его затягивать, где я был сильнее его. А Болеславский часто уезжал домой в Минск, он далеко не всегда был в Москве. Да и девушка была, с которой я встречался тогда, которой очень симпатизировал. Мы гуляли с ней часто до партии, ходили в театры, в кино. Но когда я спросил, хочет ли она, чтобы я выиграл матч, она ответила: “Мне всё равно...”».

«Как я зевнул в 6-й партии чудовищно, в один ход. Всё было очень просто. Перед доигрыванием, выйдя на утреннюю прогулку, я неожиданно столкнулся со своей женой Ольгой Игнатьевой, с которой уже фактически был в разводе. Слово за слово, мы начали “цапаться” и так продолжалось едва ли не час. А тут еще секунданты требуют играть на выигрыш. Так в растрепанных чувствах я и начал доигрывать эту злополучную партию», – объяснял Бронштейн.

Или в другой раз: «Могут спросить: если я не стремился к званию чемпиона мира, зачем принимал участие в отборочных турнирах ФИДЕ? Ответ очень прост. В те годы было мало международных турниров, и для того, чтобы вас уважала собственная федерация, и, соответственно, посылала на эти турниры, вы обязаны были играть в отборочных соревнованиях, тем самым доказывая, что входите в мировую шахматную элиту».

Потом он стал прибегать к более радикальному объяснению: «У меня были основания не становиться чемпионом мира, ибо в те времена это звание означало вхождение в официальный мир шахматной бюрократии с массой формальных обязанностей, что было несовместимо с моим характером».

Этот матч остался в его душе как след от иероглифа на яблоке. Так делали в старом Китае: из тончайшей бумаги вырезали иероглиф и прилепляли к начинающему созреть яблоку. Когда плод поспевал, бумажку отрывали, и на красной коже оставался знак.

Но если иероглиф на китайских яблоках был символом благоденствия и счастья, на бронштейновских он означал горечь и разочарование.

Необходимого человеку качества – забывать, стирать, освобождаться от воспоминаний, – он так и не приобрел и всё пережевывал и пережевывал прошлое, не в силах ни выплюнуть его, ни проглотить. Но каким искусством надо обладать, как упражнять память, чтобы научиться забывать? Да и забывать скорее благодать, чем искусство. На него не снизошла эта благодать.

Он был одержим видениями терроризирующего его прошлого, так никогда и не ставшее для него окончательно прошедшим, и в его памяти всё пережитое существовало только в одном времени: *Past continuous*.

В старинной индийской притче говорится о двух монахах, принявших строгие обеты и аскетические запреты и годами пребывавших в молчании. Однажды они услышали крик о помощи – тонула женщина. Один монах ринулся в поток и спас ее. Год спустя он спросил своего товарища: «Ты думаешь, я согрешил, когда нес женщину на спине?» «Ты что, всё продолжаешь нести ее на своей спине?» – отвечал ему другой монах.

Сохранять антипатию – всё равно, что позволить кому-то, кого вы не любите, бесплатно проживать в вашей голове. Михаил Моисеевич Ботвинник обладал в голове Бронштейна постоянной пропиской. Тема Ботвинника стала занозой, вошедшей ему глубоко под кожу, место воспалилось, болезнь стала запущенной, потом хронической, но он постоянно сам вскрывал застарелую рану.

Ахматова любила рассказывать, по какой схеме происходили у нее разговоры с Зощенко в последний период его жизни.

«Я буду Зощенко, – говорила она Лидии Чуковской, – а вы – вы. Спросите меня что-нибудь. Я – Михаил Михайлович.

«Вы собираетесь куда-нибудь за город?» – спросила Чуковская.

«Горький говорил, – медленно, торжественно, по складам отвечала Анна Андреевна, – что я – великий писатель».

Примерно по той же схеме проходили и разговоры с Бронштейном. Анафилаксия – явление, при котором определенные вещества, попав в организм, вызывают у человека, помимо краткосрочного заболевания, повышенную чувствительность к этим веществам. Порой организм хранит память о них всю жизнь. И если даже ничтожное, безопасное для других людей количество вещества попадает в организм, происходит бурная, совершенно неадекватная реакция – анафилактический шок.

Ботвинниковский шок у него мог быть вызван абсолютно всем: моим вопросом о Левенфише, которого Ботвинник отогнал «как молотобоец, стоящий в кругу и разгоняющий всех», о Флоре, помогавшем Ботвиннику во время того матча, орденой планкой на груди нищего в переходе московского метро – «вы знаете, Г., конечно, что Ботвинника до войны иначе как “гроссмейстер-орденоносец” не именовали», голландской защитой в партии, за течением которой мы наблюдали в Москве в 2004 году и которую Ботвинник и Бронштейн регулярно применяли в матче, и т.д. и т.п. Ассоциации возникали буквально на ровном месте и все тропинки разговоров вели в одном направлении: на сцену зала имени Чайковского майской Москвы 1951 года.

Даже в такой солнечной книге как «200 открытых партий» Бронштейн не мог удержаться, чтобы не пройтись здесь и там по Ботвиннику. Предваряя свою партию с Ульвестадом из матча СССР–США (1946), он пишет: «Мне было 22 года, и в команде я был самым младшим. Когда накануне матча намечали стратегический план баталии, первым взял слово старейшина – М.М.Ботвинник. Глядя на меня в упор, он четко и внушительно произнес: “Я надеюсь, что все понимают ответственный характер матча и никто не станет играть авантюрный королевский гамбит”». И Бронштейн – «слово старшего – закон» – избрал испанскую партию. Програв, сетовал: «Нет, не случайно говорят, что дебюты надо выбирать по настроению».

Его монологи напоминали оркестр, обладающий огромным репертуаром, на самом же деле в нем постоянно слышались вариации на устойчивое число тем, а лейтмотивом была одна непреходящая и так никогда и не кончившаяся. Блуждая по подземелью памяти, он всё время возвращался к ней, и, как стрелка компаса всегда возвращается к северу, его диалоги, преодолевая различные отклонения аномалий других тем, всегда вырубивали к главной.

Он мог часами философствовать на тему, что тогда думал Ботвинник о нем, Бронштейне, и что думал он сам, Бронштейн, о том, что думал Ботвинник о Бронштейне, и как заблуждался Ботвинник, думая, что он, Бронштейн, думал о том, что думает Ботвинник о Бронштейне, и собеседник невольно спрашивал себя, кто это – маленький доморощенный философ, похожий на служку в синагоге с невнятной дикцией и с грустной рассеянной улыбкой шлемазла, испытующе вглядывающийся в тебя и заикленный на событиях полувековой давности, фантомная боль от которых не отпускает его ни на мгновение?

За два месяца до смерти он обсуждал с Корчным поведение соперника в матче, игравшемся пятьдесят пять лет тому назад.

Сказал однажды: «Вот вы обо мне и Ботвиннике пишете так, как будто мы чай ходили пить друг к другу. Вы представляете, на каких разных полюсах мы находились?» – и начал свою очередную тираду.

Гоняя своего Ботвинника, как гоняют коня по кругу, он никогда не забывал сделать поправку на состав аудитории: для иностранцев – давался один образ, для профессиональных шахматистов – другой, для любителей – третий, для журналистов – четвертый. Хотя мог и импровизировать.

Однажды в Брюсселе журналист спросил его что-то о Ботвиннике. «Как вы сказали? – переспросил того Бронштейн, – Ботвинник? Бо-твин-ник? – и отрицательно покачал головой. – Никогда не слышал такого имени...»

Готовя летопись спортивного пути для книги, написанной вместе с Фюрстенбергом, Бронштейн поначалу не включил в список матч на мировое первенство.

Кокетство? Эпатаж? Оригинальничанье? Или, прибегая к терминам психологов, «вытеснение на уровне подсознательного неприятных и раздражающих фактов»?

Для обретения жизненной стойкости, а также для преодоления страдания и хандры в даосских школах практикуется особый метод. Он называется «выставить непрошеного гостя».

Человек, испытывающий зависть, обиду или гнев, посредством специальной техники отделяет страдательное состояние души от самой души, поворачивает незваного гостя к себе лицом, тем самым получая возможность выставить того за дверь. Увидеть воочию предмет своей муки именно как предмет, а не как пелену, сквозь которую мучительно смотреть на мир, значит уже одержать половину победы.

Красивый метод, но проблема заключается в другом: легко советовать «выставить непрошеного гостя», вот только где взять силы, чтобы это выполнить? Ведь будь эти силы в наличии, может, и совет не понадобился бы.

Психологи учат, что следует различать сегодня и сейчас от тогда и там. Советуют перестать сожалеть о том, что было и прошло и не обманывать самого себя. Бронштейн не хотел смириться, а никто из близких не решился сказать ему, что матч с Ботвинником – уже прошлое; что жизнь продолжается, и надо жить дальше. Никто не решился ударить его головой о стенку факта, возратить в реальность сегодняшнего дня.

Не знаю, правда, к чему привела бы эта попытка, но никто даже не предпринял ее, и вина, что он до самого конца пребывал в таком состоянии, косвенно лежит на каждом, постоянно общавшимся с ним.

Но не только боязнь официальных обязанностей, связанных с чемпионским титулом, явилась тормозом в его игре. Мысль – как это он, Дэвик, еще десять лет назад гонявший бесконечные блиц-партии с приятелем Левой Моргулисом в киевском Доме пионеров, встанет в один ряд с великими, обжигала его. Имена чемпионов звучали для него неземной

музыкой, обожествление переросло в нерешительность, породило раздвоенность, создало душевный дискомфорт.

«Нам и в голову не могло придти, что кто-то из нас может оспаривать у Капабланки, Алехина, Ласкера чемпионский титул, настолько велико было у нас уважение к их таланту, к их партиям. Кроме Ботвинника тогда ни у кого и в мыслях этого не было», – вспоминал Бронштейн на закате жизни.

Подобного рода мысли оставались с ним, когда он сел за шахматный столик в Концертном зале имени Чайковского. Титул оставался для него чем-то абстрактным, а когда оставалось только одно последнее усилие, Бронштейн не выдержал напряжения, и чемпионская корона, мерку с которой он уже снял, не досталась ему.

Конечно, он потерял что-то, не став чемпионом мира, но, может, кое-что и приобрел. Ведь самое захватывающее в чемпионском звании – сам путь к нему, а не обладание титулом, нагружающее ответственностью, приносящее только заботы, зависть и постоянные упреки, а то и нападки.

Но даже если бы Бронштейн стал чемпионом мира, мне кажется, это мало что изменило бы. Не зря ведь психологи утверждают, что люди, выигравшие крупную сумму в лотерею, первые восемь недель чувствуют себя счастливыми, после чего всё возвращается на круги своя, и мир воспринимается ими точно так же как до этого.

Трудно согласиться и с утверждением его жены, не единожды высказанным и самим Бронштейном: «Что касается сетований на то, что не став чемпионом, Давид не получил со временем приставку “экс”, оказавшуюся очень доходной, позволяющую всю жизнь получать проценты с капитала бывшего чемпионства, то Давида это мало задевает: у него другая шкала ценностей. У него не было охранительного титула экс-чемпиона, поэтому это облегчало возможность не считаться с ним. Ему практически не давали играть в крупных международных турнирах».

Персональные приглашения не имели значения в то время не только для него, но и для других советских гроссмей-

стеров, включая и бывших чемпионов мира. Приглашения на международные турниры, о которых он и не догадывался, шаткое материальное положение, наконец, просто запрещение выезда за границу – довелось испытать и экс-чемпиону мира Михаилу Талю.

Для того, чтобы быть не просто одним из лучших, а самым лучшим, чемпионом, нужно иметь гипертрофированное «я». Это «я» в сочетании с талантом было у Бронштейна в избытке. Что же, помимо колебаний и сомнений, помешало ему стать чемпионом мира?

Когда я спрашивал об этом Марка Тайманова, знавшего Бронштейна более семи десятков лет, вопрос поначалу поставил его в тупик: «Для выигрыша матча Бронштейну не хватило не столь половинки очка, сколь какой-то образованности. Нет, пожалуй, образованность – какое-то уж очень узкое слово, а интеллект очень широкое, тем более, что в наличии интеллекта ему нельзя было отказать. Не знаю, какое слово и подобрать...»

Но потом все-таки нашел объяснение: «...может быть, не хватило характера. Выдающегося дарования был шахматист, но чтобы стать чемпионом мира, не хватало ему жесткого целенаправленного характера».

Удивить всех, показать что он, Давид Бронштейн, явление исключительное, наложило отпечаток на его игру и как следствие – на результат матча, считал секундант Бронштейна на матче с Ботвинником. Александр Маркович Константинопольский рассказывал, что часто невозможно было угадать, какой ход придет в голову Дэвику: все планы и домашние заготовки шли прахом и начиналась чистейшей воды импровизация, результаты которой были непредсказуемы.

По мнению Каспарова, «Бронштейн всё время упирал на психологию, думая о том, как бы озадачить Ботвинника. Необычным сочетанием психологизма и красоты игры Бронштейн отличался от всех шахматистов своего времени.

Спортивный же, состязательный элемент был у него слабее, и в решающие моменты ему чего-то не хватало».

Владимир Крамник, подробно анализировавший партии матча, «не согласен с расхожим мнением, что Бронштейн должен был выиграть, что ему просто не повезло и чуть-чуть не хватило на финише».

Он полагает, что в целом Ботвинник доминировал, играл сильнее, даже несмотря на то, что находился далеко не в идеальной форме: «Как и полагается великому шахматисту, в решающий момент он собрался и хорошо провел партию. Хотя Бронштейн в какой-то момент был ближе к ничьей, чем Ботвинник к выигрышу, я не назвал бы это поражение случайным. Думаю, что итог матча совершенно закономерен».

Конечно, ничья в 23-й партии была возможна, конечно, анализ отложенной позиции был поверхностным, но только ли в этом дело? «Порядок бьет класс» – говорил один из столпов российского футбола Николай Старостин. Если порядок бьет класс, то тем более порядок бьет неорганизованность, сомнения и недостаток техники.

Ахматова заметила как-то, что Брюсов в поэзии знал секреты, но не знал тайны. Давиду Бронштейну в шахматах была известна тайна, но не все секреты игры были ему знакомы. Одним из таких секретов был эндшпиль, и от этого недостатка Бронштейн так и не смог избавиться до конца карьеры.

Запись из дневника Ботвинника – «технические простые концы знает слабовато» – соответствовала действительности: Бронштейн проиграл в матче три совершенно ничейных окончания. Каждому проигрышу он дал какое-то свое объяснение, но факт был очевиден: в позициях, где с доски исчезали ферзи, его буйной фантазии было тесно, а искусство считать варианты не играло такой роли.

Но, может быть, самое главное было в другом. Через тридцать три года после матча Ботвинник – Бронштейн в Москве игрался другой матч на первенство мира. Огляды-

ваясь на свою карьеру и вспоминая тот матч с Карповым, Каспаров писал: «Я тогда четко уяснил: реальность – она такая, какая есть, и если хочешь что-нибудь сделать – надо с ней считаться. О вещах, которые находятся вне моего контроля, я попросту не думаю».

Если бы Давид Бронштейн тоже понял бы эту простую истину, кто знает, результат его матча с Ботвинником мог бы стать иным, несмотря на все лакуны Бронштейна в окончаниях.

В многочисленных интервью, статьях и высказываниях замечательного шахматиста, объясняющих невыигрыш им матча, он ссылается на различные причины. Но настоящую он назвал едва ли не полвека спустя: «Множество раз болельщики и друзья приставали ко мне с вопросом насчет “принудительного характера” проигрыша 23-й партии матча, считая, что был заговор с целью помешать мне отобрать титул у Ботвинника. Сколько чепухи написано на эту тему! Могу сказать только одно: да, я подвергался сильному психологическому давлению с разных сторон, но только от меня целиком зависело, поддаться ему или нет».

А в самом конце жизни признал: «В глубине души я, видимо, все-таки не верил, что могу победить Ботвинника».

Два года спустя пришло время для очередного турнира претендентов. За несколько дней до начала турнира выяснилось, что Бронштейну придется отправиться в Цюрих без секунданта. Это было для него тяжелым ударом: за последнее десятилетие Борис Самойлович Вайнштейн стал едва ли не самым близким для него человеком.

Спустя три десятка лет Бронштейн объяснял свою ответственную неудачу в турнире (дележ второго-четвертого мест с Кересом и Решевским): «Я старался не откладывать партии, так как не имел помощника для анализа. Если же постоянно анализировать самому, то трудно выдержать тридцать туров. Но это одна сторона вопроса. Есть и другая, пожалуй, даже более важная. В таком турнире каждому участ-

нику нужен не столько помощник при анализе отложенных партии и подготовке к дебюту, как друг, с которым можно откровенно поговорить поздним вечером, поделиться мыслями и впечатлениями, а в свободный день вместе пойти в театр. Такого друга не было со мной в Швейцарии, и, будучи в состоянии победить любого соперника, я психологически оказался слабее многих в начале турнира и далеко не всегда реализовывал свой творческий и спортивный потенциал».

В конце жизни Бронштейн рассказал о цюрихском турнире в статье с характерным названием: «Сплавка в Цюрихе». Он писал, что руководители советской делегации заставили его в партии со Смысловым, где у него были белые, согласиться на ничью до игры. Писал, что Керес не поддался на аналогичные уговоры и, выведенный из себя, начал лихую атаку против будущего победителя турнира, выигравшего блестящей контратакой.

«Проиграв в прошлом туре психологическую дуэль Геллеру, я стоял перед альтернативой – стремиться ли к победе любой ценой (по примеру Кереса!) или вести спокойную игру, – писал Бронштейн о кульминационной точке турнира. – Будь то сегодня, я знал бы, как играть, но тогда по молодости лет и не имея с кем посоветоваться, согласился на ничью, по сути дела, уже при выборе дебюта», – писал сам Бронштейн о своей ничейной партии со Смысловым. Отметим, правда, что Смыслов в тот момент опережал Бронштейна на два очка.

Бронштейн жаловался, что перед тринадцатым туром руководители советской делегации внушали ему, что он должен победить Решевского. Что он и сделал, выиграв у американца одну из своих самых блестящих партий.

Перед встречей с Геллером функционеры сказали ему, что договорились с его соперником: тот проигрывает партию.

Бронштейн пишет, что сделал вид и согласился на это предложение, но, не зная какой тактики придерживаться, решил тупо играть на ничью и проиграл. Пишет и о том, что Геллеру на самом деле никто ничего не сказал.

Наверняка так всё и было. Но разве очко, полученное таким способом от Геллера, можно было бы отнести к «fair play»?

Повторюсь: разговоры о «сплавах», «компенсации очка другим способом», различные кланы, действительные и мнимые, заговоры, письма в высшие инстанции, обращения к «своим людям наверху», дружба не с кем-то, а против кого-то всегда присутствовали в советских шахматах.

«Я не знаю, что там было на самом деле. – говорит Виктор Корчной о цюрихском турнире претендентов. – Но если Бронштейн прав в своих поздних обвинениях, как же он мог тогда писать книгу-панегирик? Разве не стыдно было: тебя замарали, с тобой бог знает что сделали, а ты такую красивую книгу пишешь о турнире, где всё было заранее предопределено. Ведь когда ты книгу писал, ты ведь тоже знал всё это?»

Кто знает, может быть, об этом думал и сам Бронштейн, когда говорил, что «терпеть не может этой книги», а в самом конце сожалел, что вообще написал о «сплавке в Цюрихе».

Давид Бронштейн явился предтечей Михаила Таля. Быть предтечей – почетная, но не всегда благодарная доля: имя Христа известно всем, а Иоанна Крестителя только более или менее серьезно интересовавшимся вопросами христианской религии.

Бронштейну удалось перенести идеи выдающихся мастеров прошлого в шахматы сороковых годов XX века и, подняв их на новый уровень, создать почву для появления другого гения – Михаила Таля.

Гарри Каспаров справедливо полагает, что Бронштейн – связующее звено между Алехиным и Талем, резонно замечая, что оба они «безбоязненно покушались на “святое” в шахматах – материал, жертвуя им за атаку, инициативу».

Не склонный на комплименты Корчной, в ответ на вопрос, является ли Давид Бронштейн выдающимся игроком, разразился тирадой: «Выдающийся ли игрок Бронштейн?

Он – Гений! Гений! Ведь гений – это человек, который идет впереди своего времени, а Бронштейн заметно опередил свое время. Если Ботвинник говорил, что Бронштейн очень хорош при переходе из дебюта в миттельшпиль, это очень слабо сформулировано. На самом деле, Бронштейн продемонстрировал в этой стадии множество идей, явившихся абсолютными откровениями. Это признак гения. В период 1945–1951 годов он превосходил всех по пониманию шахматной игры. Не появись тогда Бронштейна, не возникло бы в шахматном мире Таля».

И Бронштейн, и Таль исповедывали один и тот же подход к шахматам. Оба считали, что самой интересной составляющей игры является комбинация, оба совершенно сознательно включили в игровой процесс компоненты риска и блефа.

Они смотрели на партию в шахматы не как на требующую доказательства теорему, но как на своего рода перформанс, где человеческие эмоции играют не меньшую роль, чем происходящее на шахматной доске.

Однажды, когда после закончившейся партии Бронштейну указали на очень опасную для него жертву фигуры, он только улыбнулся: «Да что вы, мой соперник так не играет...»

Фраза, едва ли не слово в слово не раз повторенная Михаилом Талем. Да и постулат Таль – «в шахматах дважды два не всегда равно четырем» – первым сформулировал Давид Бронштейн.

В Сальтшёбадене (1948) Бронштейн в свободное время частенько играл блиц с Мигелем Найдорфом, почти всегда побеждая его.

В турнирной партии с аргентинским гроссмейстером, находясь в сильнейшем цейтноте, он в худшей позиции предложил ничью. Найдорф отказался. Бронштейн поднялся со стула и, расхаживая по сцене, стал невозмутимо рассматривать позиции на соседних досках, краешком глаза следя за соперником. Через минуту, потерявший душевное равновесие Найдорф, махнув рукой, остановил часы.

В претендентском турнире 1959 года Таль попал в критическую позицию в партии с Фишером. Американец записал на бланке выигрывающий ход и испытующе поглядывал на соперника. Как ни в чем не бывало, Таль, медленно поднявшись, начал свой обычный обход столиков, за которыми играли конкуренты. Фишер дрогнул, зачеркнул ход, сделал другой, ошибочный.

Утверждая, что матч с Ботвинником показал полное превосходство его стиля, Бронштейн нередко ссылался на слова Ларсена, сказавшего, что именно он, Бронштейн, снял с Ботвинника позолоту, продемонстрировав, как следует играть с ним.

Действительно, Бронштейн показал, какая манера игры наиболее неприятна для Ботвинника, но реального успеха добился Михаил Таль. Справедливости ради, следует отметить, что оба выдающихся гроссмейстера, внеся острую приправу в железную логику ботвинниковских шахмат, не смогли доказать, что специи могут заменить само блюдо. Да и возможно ли это: приправа может дать блюду новый вкус, сделать более утонченным, принести наслаждение, но заменить?

В свои лучшие годы оба играли с невероятным напором и концентрацией. Эту исходившую от них энергию соперники чувствовали едва ли не физически.

Давид Бронштейн имел обыкновение проигрывать в первом туре: ему требовалось какое-то время для разогрева. Но, набрав скорость, мог развить ураганный темп. В матче Москва – Прага в 1946 году Бронштейн, проиграв в первом туре, в последующих одиннадцати отпустил соперникам только одну ничью.

Таль тоже неоднократно проигрывал на старте. Один из многих примеров – турнир в Блде (1961), когда, проиграв Фишеру в первом туре, Таль в конце концов догнал, а потом и опередил американца.

У обоих был период, когда они исступленно занимались шахматами. Страстному исследованию посвящались долгие дни, недели, месяцы.

Не всё было им одинаково интересно: заниматься эндшпилем казалось обоим скучным, да и количество партий, выигранных напором, атакой, инициативой было так велико, что сами собой сглаживались погрешности в технике. Но любому тренировочному процессу и Бронштейн, и Таль предпочитали саму игру.

Феномен Капабланки Бронштейн объяснял бесчисленными партиями блиц, которые молодой кубинец, отработавшая технику, играл в Нью-Йорке в студенческие годы. Бронштейн знал, о чем говорил: годы, проведенные Дэвиком в киевском Доме пионеров за пятиминутками, да и последующие в Москве, выработали автоматизм, быстрое принятие решений и молниеносную ориентацию в самых запутанных положениях.

Лариса Вольперт вспоминает, как в 1947 году молодой Бронштейн дал ей полушутливый совет: «Хотите усиливаться в шахматах, играйте как можно больше блиц, причем играйте евгеники, а не платоники». (Выражение, часто употреблявшееся тогда блицорами: «платониками» называли обычные партии, а «евгениками» – на интерес).

Несмотря на быстрый и точный расчет, Бронштейн, стремясь вычислить позицию до конца, частенько испытывал недостаток времени. Конечно, у него не было таких жутких цейтнотов как у Решевского, но если американец, играя на флажке, подпрыгивал на стуле, заглядывал в бланк соперника и очень нервничал, Бронштейн сжимался в комок и как бы сливался с доской и фигурами, только время от времени бросая короткие блики на циферблат часов.

Недостаток времени только подстегивал его, и нередко соперник, как замороженный, смотрел на висящий флаг Бронштейна и ошибался первым. То же можно сказать и о выдающемся блицоре Тале, частенько повторявшем: «Спокойствие – моя подружка!»

И один, и другой не только тонко чувствовали состояние соперника, но и были равнодушны к реакции зрительного зала, аплодисментам. Думаю, что и постоянное участие обоих в первенствах Москвы по молниеносной игре объяс-

няется не только любовью к блицу, но и живым контактом с публикой, плотным кольцом окружавшей столики в парке Сокольники, громогласно объявляющимися после каждого тура результатами, ажиотажем, царящим на игровой площадке и за ее пределами.

Оба не особенно нуждались в тренере, скорее им был нужен преданный, близкий человек, который, постоянно находясь рядом, создавал бы настрой, вселял уверенность, отпускал комплименты, не забывая при этом напомнить, что пора пообедать, поужинать, сходить на прогулку – ведь гений зачастую оказывается менее приспособленным к жизни, чем простые смертные.

Таким человеком для Бронштейна был Борис Самойлович Вайнштейн, для Талья – Александр Нафталиевич Кобленц. Всех остальных, работавших с ними, можно называть как угодно: спарринг-партнерами, секундантами, помощниками, консультантами. Вайнштейн и Кобленц были для них всем.

И Бронштейн, и Таль обладали очевидным литературным даром, но ни один, ни другой не любили писать, предпочитая надиктовывать свои статьи и книги. «Я не писатель, – обронил как-то Таль, – я говоритель. Не громко, но говоритель...» Бронштейн тоже предпочитал надиктовывать книги своим соавторам: Георгию Смоляну, Сергею Воронкову, Тому Фюрстенбергу.

Полвека назад молодой питерский литератор Андрей Арьев отдыхал вместе с приятелем в Ялте. Оба оказались на мели, да на такой, что и денег на обратную дорогу не оказалось. Вдруг видят: по дорожке парка идет Давид Ионович Бронштейн, друзья сразу узнали прославленного гроссмейстера. Набравшись смелости и вспомнив имя-отчество, подошли к нему и честно признались в плачевном положении.

«Вернете, когда на месте окажетесь», – сказал гроссмейстер и вручил нужную сумму совершенно незнакомым людям. Кто еще мог бы поступить таким образом? Разве что Таль, если бы нашел сотенную, случайно завалявшуюся за подкладкой кармана.

За границей перед каждой покупкой Бронштейн не освежал в уме соотношение мало что стоящих рублей и драгоценной валюты, беззаботно тратя ее на безумные, с точки зрения коллег, предметы. Понаторевшие в заграничных поездках, знающие реальное соотношение цен советские гроссмейстеры везли из заграницы товары частично для собственных нужд, частично для выгодной продажи, и смотрели на Бронштейна, как на человека не от мира сего.

Таль был из той же породы, хоть и несколько отличался от Бронштейна: Миша просто терпеть не мог хождения по магазинам. Однажды, закончив в голландском Тилбурге процедуру покупок по заранее составленному для него списку, Миша перешел к предметам экипировки собственной персоны.

«С этим всё ясно, – положил Таль конец тягостному для него походу. – Дома скажем, что этого пока в Голландию не завезли...»

Федор Степун вспоминал Марину Цветаеву: «Было в Марининой манере чувствовать, думать и говорить и нечто не вполне приятное: некий неизничтожимый эгоцентризм ее душевных движений». Ему вторил Юрий Терапиано: «Об эгоцентричности Цветаевой можно написать целую диссертацию».

Шагал считал, что художник имеет право быть эгоистом, так как слишком напряженная работа не позволяет считаться с чувствами других.

Один из современников писал о великом писателе: «Решительно надо сделаться эгоистом вроде Чехова – только тогда и успеешь что-нибудь да сделать».

Мстислав Ростропович утверждал: «Те гении, которых я знал – Шостакович, Прокофьев – были смертельными эгоистами. Вероятно, когда Бог дает такое солнце тебѣ, человек невольно начинает охранять это солнце. Прокофьев, например, куда бы он ни был приглашен, в одиннадцать вечера уходил. Уходил и из Кремля, там где Сталин сидел – не имело значения. И Шостакович где-нибудь в гостях сидит –

часто бывало у меня дома, – когда сочтет нужным, скажет: “Поели, попили, пора по домам”. Они не сговаривались по этому поводу. Просто охраняли свой гений. Сохраняли то, что в них заложено, чтобы отдать это людям. Я знал еще гениев – Пикассо, например. Тоже жуткий эгоист был, нечеловеческий эгоист. Потому что все они понимали, что это за дар, и берегли его».

Можно согласиться или не согласиться с выдающимся музыкантом по поводу причин эгоцентризма, свойственного людям, наделенным необыкновенным талантом, но и Давид Бронштейн, и Михаил Таль, будучи по характеру совершенно разными людьми, требовали абсолютного внимания к себе. И хотя их эгоцентризм был наряжен в разные одежды, у обоих было огромное, соразмерное таланту честолюбие.

Корчной называет Давида Бронштейна гением. Что такое гений? Существуют ли градации гения? Всегда ли гений гениален? Когда гений перестает быть гением?

Очевидно, что в наше время всеобщего измельчания не избежало инфляции и это понятие. Сегодня молодые шахматисты легко раздают патенты на гениальность, причем речь идет о коллегах, играющих с ними в одних турнирах.

Лев Ландау в ответ на вопрос: «Говорят, вы – гений?» – серьезно ответил: «Нет, я не гений, но очень талантливый», а Роберт Фишер был предельно краток: «Гений – только слово. Если я выигрываю – я гений. Если нет – нет».

«Да, я лучший писатель... но у Катаева демон сильнее», – сказал однажды Юрий Олеша, сравнивая себя с Валентином Катаевым.

Не знаю, какими мерками могут быть измерены выдающиеся таланты Бронштейна и Таля, но все, близко знавшие Михаила Таля, поймут что я имею в виду: его демон был сильнее бронштейновского.

«Гений» – не математическая формула, гениальности нельзя научить или научиться. Нередко расцвет гения совпадает с годами юности, а последующая жизнь является лишь постепенным, порой и внезапным, угасанием «боже-

ственного пламени». Проявление гения возможно только в состоянии одухотворения и подъема, но одухотворение не может длиться вечно; такое состояние не поставишь на конвейер.

Рембо был поэтом всего четыре года. Мицкевич не писал стихов последние двадцать лет, но поэты, писавшие их до самой смерти, нередко оказывались только однофамильцами самих себя, от которых когда-то исходил божественный свет.

И Бронштейн, и Таль не были гениями на протяжении всей карьеры. Для Таля – это отрезок 1957–1960 годов, может быть, еще несколько лет. До конца жизни ему удавались порой «талевские» партии, уже в зрелом возрасте он осуществил длинную беспроигрышную серию, но когда речь заходит о феномене Таля, подразумевается нечто другое.

Расцвет Давида Бронштейна пришелся на первое послевоенное семилетие (1945–1951). Хотя и после этого он сыграл немало замечательных партий, из уникальных и единственных в своем роде его шахматы постепенно превращаются в шахматы блестящего гроссмейстера, но без того «ах!», какими были партии раннего Бронштейна. И когда речь идет о гении, опередившем время, мы вспоминаем Бронштейна, на одном дыхании вышедшем на Ботвинника и оказавшегося достойным соперником чемпиону мира.

Казалось, развал Советского Союза и наступившая свобода должны были принести им обоим огромное облегчение. Этого не произошло. Прожив жизнь при ином атмосферном давлении, они не смогли приспособиться к разреженному воздуху постсоветской России.

Неся в себе накопленный жизненный опыт в условиях, предложенных им временем и обстоятельствами, оба могли жить только в системе координат Советского Союза, при условии если бы их выпускали за границу, когда они бы того пожелали.

Неудивительно, что Бронштейну после долгих странствий в конце концов не показался Запад, а Таль откровенно

страдал в Германии, где пытался жить в последний период жизни.

Но несмотря на наличие многих общих черт, между ними была и огромная разница. Прежде всего – фактическая. Став в двадцать три года чемпионом мира, Михаил Таль с необыкновенной легкостью осуществил то, на что только замахнулся Давид Бронштейн.

Бронштейн сыграл вничью матч на мировое первенство и почти стал чемпионом мира. Почти. После матча Вайнштейн высказал мнение, что Бронштейн является моральным победителем. Пусть так, но бесстрастная история, в которой ничего изменить нельзя, предпочитает не моральных победителей, а фактических. Шахматы, как и жизнь, безжалостны: стрелок, чуть-чуть не попавший в десятку и оставшийся без награды, не лучше того, кто бьет мимо мишени.

«Только один ход, – не устал повторять Бронштейн. – Только один ход – и такая огромная разница!»

Но так уж устроен жестокий мир спорта: разница именно в этом ходе, в одном сантиметре, в доле секунды. В фотофинише, возносящем одного соперника на пьедестал, а другого низвергающего вниз. Именно в этом и заключается разница.

Когда пик карьеры остался позади, Таль продолжал просто жить и играть, стремясь извлечь как можно больше удовольствия от настоящего и не задумываясь, что скажут, подумают или напишут о нем.

К мнениям других о себе и о своем месте в шахматах Бронштейн относился крайне ревностно, и многочисленными дифирамбами известных шахматистов и рядовых любителей расцвечены его последние книги. Высказывания же высшего комплиментарного порядка он предоставил своим соавторам, озвучивая чрезвычайно высокую самооценку их голосами.

Бронштейн оставил после себя обширный архив, в котором хранил всё, начиная едва ли не с самых первых шагов в шахматах. Таль не собирал ни кубков, ни медалей, ни фото-

графий, ни дипломов, невозможно даже представить его за этим занятием.

Нет ничего плохого в озабоченности перед вечностью, но это посмертное честолюбие всегда превращалось у Таля в очередную шутку. Хмыкая, читал собственный некролог: «пожалуй, он мне может пригодиться – вот попаду ненароком в милицию, покажу им эту бумаженцию: если меня нет на свете, на кого ж составлять протокол...»

Замечательный русский писатель Варлам Шаламов, вспоминая детские годы, писал: «Чужой отличный ответ на любом занятии я воспринимал как личное оскорбление, как обиду», а Томас Манн, прочтя «Игру в бисер», воскликнул: «Все-таки неприятно, когда тебе напоминают, что ты не единственный!»

Похожие чувства испытывал Бронштейн, когда взошла звезда Михаила Талья. Хотя отношения между ними внешне были вполне дружескими, Бронштейн ревновал Талья к его успехам, эта ревность-зависть была заметна всем, и Таль тоже не мог этого не чувствовать.

«Он был честолюбив, тщеславен, эгоистичен. Затруднительно сказать, чего было больше. К этим чертам еще можно прибавить злопамятность, зависть к славе, мстительность. Он был очень чувствителен к славе и безрассудно ревнив».

Это характеристика Варлама Шаламова, данная одним из его искренних и близких друзей, восхищавшимся его рассказами. Читая ее, я тоже вспомнил о Давиде Бронштейне.

Михаил Ботвинник, отмечая лакуны в игре Таля, признавал, что когда начинается открытая счетная игра, ему нет равных.

Тигран Петросян заметил как-то, что лично знал только одного гения – Талья.

Самые высокие характеристики Талю давал Леонид Штейн, а у Марка Тайманова первоначальный скептицизм по отношению к Мише сменился безграничным восхищением. Такое же чувство к Талю испытывал Сало Флор, немало повидавший на своем веку.

И только Бронштейн говорил, что Таль не производит на него большого впечатления.

Корчной вспоминает, как во время первенства страны в Москве в 1957 году, наблюдая искрометную игру Таля, сокрушавшего одного соперника за другим, Бронштейн говорил: «Ну что Таль, вот он жертвует всё время, жертвует... Он думает, что он первый, кто играет в таком стиле. Посмотрел бы он на мои партии. Или молодого Болеславского. Он думает, что до него так никто не играл...»

Или в другой раз: «У меня очень экономичный стиль игры. Это Таль играл очень сложно, нагромождая варианты, которые в большинстве своем придумывал после партии. Все они нереальные. Таль просто закручивал позицию, нагнетая страх на партнеров».

В конце жизни он скажет: «Сейчас, когда я перебираю свой архив, я удивляюсь, как много писали обо мне газеты. Заголовки статей не отличались разнообразием. Еще до Таля меня называли волшебником и великим маэстро, гением комбинации!»

Внутренний самосуд напрочь отсутствовал у него, имела место быть только едкая горечь и обида на всё и вся. Джайс советовал три средства, чтобы обратить обиду в творчество: молчание, изгнание и хитроумие. Хитроумный Дэвик испробовал изгнание и молчание, но всё равно его творчество последнего периода пронизывают жалобы и обиды.

Никогда он не винил себя, всегда кого-то. Другого, другую, других, выуживая из фантастической памяти своей все новые факты в подтверждение приводимых им аргументов.

В Брюсселе на Кубке ГМА после партии Таля с Торре, закончившейся вничью, я спросил: «Миша, а почему ты так не сыграл? Там разве не лучше было?»

Таль задумался на мгновение. «Знаешь, просто не допёр...» Так никогда не смог бы ответить Давид Бронштейн.

Образ страдальца до сих пор ассоциируется с именем Бронштейна, в отличие от Таля – веселого, бесшабашного гения-гуляки, ни о чем не заботящегося и живущего сегодняшним днем.

Когда Бронштейн играл матч с Ботвинником, ему было двадцать семь лет. После этого он оставался в шахматах еще с полвека. Он выиграл межзональный турнир в Гетеборге в 1955 году. Побеждал в чемпионатах Москвы. Выиграл или разделил победу в нескольких турнирах смешанного состава. Список этих турниров довольно куцый, и по большому счету после матча с Ботвинником Бронштейн не выиграл уже ничего.

Такое случается с человеком творческим. Юрий Олеша создал свои лучшие произведения между 1924 и 1931 годами. Всё, написанное им после этого, создано как бы другим человеком. После 1931-го года у Олеши можно найти превосходную метафору, несколько отличных страниц, но прозы такого замеса уже не встретишь.

Так и у Давида Бронштейна за полвека последующей турнирной практики встречаются блестящие партии, эффектные ходы, оригинальные замыслы, но постоянного полета вдохновения, такой плотности результатов уже нет.

Мощный, гениальный шахматист ушел из него задолго до его физической смерти. Здесь и там в его партиях можно увидеть былую мощь, но из подавляющего большинства их вытекли радость и напор.

Он играл так же, как совокупляются в пожилые годы: из чувства долга, без особого интереса к процессу. Его талант остался при нем, но о бронштейновском таланте стали говорить больше абстрактно и в прошедшем времени.

Олеша всё понимал сам, и это его ужасало. Об этом можно прочесть в дневниковых записях Юрия Карловича, о том же говорили его друзья. «Он приезжал с намерением писать, писать, но писал мало, потому что вокруг было столько друзей и искушений. Спуститься в ресторан, где подавали вкуснейшие киевские котлеты, где можно сидеть, не торопясь. И говорить, говорить...» – вспоминал коллега Олеши о приездах писателя в Одессу.

Давид Бронштейн даже не предпринимал попыток измениться, сделать выводы и говорил, говорил... Казалось,

мысль рождается у него во рту, говорильня стала его жизнью.

У греков понятия «быть» и «говорить» выражаются одним и тем же словом. Для него эти понятия тоже стали идентичными.

Бронштейн-философ, Бронштейн-говорун подмял под себя Бронштейна-шахматиста, и он всё больше оказывался в разладе с самим собой.

Такой разлад может быть преодолен двумя способами: либо человек пытается что-то сделать с физиономией, либо – с зеркалом. Он выбрал второе, став живой иллюстрацией, чем становятся чудачества гения без главной составляющей: «предвестием льгот приходит гений и гнетом мстит за свой уход».

Есть охотничий термин – «вязкость». Так говорят о собаке, которая, почуяв дичь, идет по следу, не сбиваясь и не отвлекаясь на посторонние и случайные запахи; такая собака не вернется без добычи в зубах.

У всех великих игроков была такая вязкость. Была она и у Бронштейна, до тех пор пока философствование не стало брать верх над самой игрой.

Трудно сказать, что произошло, если бы его выдающийся талант и энергия были направлены только на шахматы, как было, например, у Фишера. Но если бы это случилось, тогда это был бы, конечно, не тот Бронштейн, которого все знали. Или думали, что знали.

В 1963 году он играл вместе с Юрием Авербахом в Вейк-ан-Зее. По тогдашней традиции участники жили на частных квартирах, и оба гроссмейстера в течение всего соревнования делили комнату в доме главного врача.

«Идеи бурлили в его голове, – вспоминает Авербах. – Он буквально исходил ими, безостановочно высказывая всё, что приходило ему на ум. “Как только дома жена выдерживает твой речевой фонтан?” – спросил у него однажды. “А когда она не выдерживает, к соседям уходит”, – признался Давид с виноватой улыбкой».

Том Фюрстенберг писал, что «своими идеями Бронштейн щедро делится с организаторами турниров, спонсо-

рами, судьями, игроками, частенько переступая черту, за которой люди начинают испытывать раздражение. Поэтому организаторы не очень охотно зовут его в турниры, а собеседники иногда не принимают всерьез».

Фюрстенберг вспоминает, что общаясь с Бронштейном в процессе написания книги, должен был регулярно делать паузы: «Я не думаю, что был более терпелив чем другие, но с ним просто вынужден был быть таковым. Когда терпение лопалось, я говорил: “Дэвик, ты можешь помолчать, ну хоть немного...” – и тогда он замолкал, пусть и не надолго. Он жил два года в Испании, в Овьедо, и работал тренером в местном университете. Его испанский уступал английскому, но был достаточным, чтобы давать уроки. Всё шло к тому, что ему предложат постоянное место, но они не могли выдержать его бесконечного монолога. Это и стало причиной того, что ему не продлили контракт в Овьедо».

Но если бы продлили, было бы ему хорошо там? Виктор Шкловский, вырвавшись в начале 20-х годов из Москвы в Берлин, утверждал, что ему живется там хуже чем в Москве, а вернувшись в Россию, сокрушался: «живу тускло, как в презервативе».

Если бы Шкловский остался на Западе, скорее всего его ожидала бы профессорская кафедра, поездки на конгрессы, встречи с коллегами. Пристойное размеренное существование, потом выход на заслуженную пенсию. Но для человека его типа и темперамента этого было мало, и вряд ли он был бы доволен своей судьбой.

Не думаю, что и Давид Бронштейн был бы доволен, если бы видел Русь из своего чудного далека. Слишком мал был для него этот мирок: беспокойный невротик, он не искал покоя, он жаждал признания.

Потеряв имидж страдальца, он превратился бы в доживающего свои дни пенсионера, не имея контакта ни со своими испанскими сверстниками, ни, тем более, с молодыми шахматистами.

А так – он снова вернулся в Дэвика, кем был всю жизнь и где ему было так уютно: страдающего, непонятого, недооце-

ненного гения, которому, затаив дыхание, внимает несколько друзей и почитателей.

Том Фюрстенберг утверждает, что у Бронштейна были тогда и другие предложения, но все они закончились ничем по той же самой причине. Когда Том настоятельно рекомендовал ему поменьше говорить, к тому же постоянно впадая в повторы, Дэвик отвечал: «I like people».

Это, конечно, было не так: он любил, когда пипл внимал ему и восхищался им. Другие люди интересовали его только в их ретроспекции на него самого.

Наверное, ему было бы неплохо побыть с психоаналитиком: тот спрашивал бы его о чем-нибудь, Дэвик мог бы говорить часами, даже не задавая символичного вопроса: а как дела у вас?

Впрочем, он и так не задавал его. Не могу вспомнить, чтобы он когда-нибудь поинтересовался моими делами, планами: он, он сам, его шахматы, его место в них были смыслом и наполнением всей его жизни.

В последние годы у него образовался довольно обширный круг общения. Москвич – журналист и психолог. Другой москвич – инженер, выполнявший все просьбы и поручения Дэвика. Еще один москвич – шахматный журналист. Бельгиец – любитель шахмат. Его соавторы. Академик, живший в Москве неподалеку, его старинный и преданный поклонник. Французский историк шахмат. Англичанин – друг и переводчик, сам сильный шахматист. Почитатели в Испании, Исландии, Германии, Бельгии, Голландии, Франции, Англии: страны, в которых он регулярно бывал в постсоветское время.

Подолгу живя за границей и играя за какой-нибудь клуб второй, а то и третьей лиги, он получал крошечные гонорары. Порой играл и бесплатно. Признание любителей, восхищение и гордость от факта, что за их маленький клуб играет великий Бронштейн, было для него важнее денег.

Но если с ним было непросто внимающему ему пиплу, самая большая нагрузка ложилась на близких. Где вообще

лежит граница между восхищением незаурядным человеком и жертвенностью тратящих на него массу собственного времени и нервов находящихся рядом людей?

Если для шахматистов Давид Бронштейн был просто именем, за которым стояли сверкающие идеями партии, для общавшихся с ним каждодневно, видевших его капризным и мнительным, он был человеком из плоти и крови, требующим постоянного внимания.

Он часто и с удовольствием вспоминал встречи и беседы с Хейном Доннером. Случайно? Так же как голландский гроссмейстер, Бронштейн, прочтя статью в популярном журнале, мог смело пуститься в дискуссию с признанным специалистом в этой области, осыпая того наивными, пусть и почти всегда оригинальными выводами.

Жена Бронштейна, профессиональный музыковед, говорит, что в музыке Дэвик по-настоящему не разбирался. Что не мешало ему порой рассуждать и на музыкальные темы.

Марку Тайманову запомнился длинный монолог Бронштейна после просмотренного в Большом театре «Лебединого озера». На редкость нудный, по словам Тайманова, рассказ Дэвик закончил откровением: «Ты же знаешь, как я люблю музыку Чайковского, но “Танец маленьких лебедей” я бы сочинил иначе...»

Помню наш разговор об Эйве, которого, как мне казалось, я знал много лучше его. Хотя оценки Бронштейна отличались от моих, я не возражал, а он продолжал развивать стройную, связную концепцию, и я подумал тогда: этим человеком с устойчивой репутацией чудака мир воспринимается иначе, нежели мною. Или иначе, чем всеми?

Он обобщал, домысливал и дополнял воображением то, чего не хватало для созданной им картины. Прошрое двои-лось у него на воспоминания о том, что было и чего не было, непрожитое, но пережитое. Частенько принимавший свои фантазии за реальность и парируя факты собственными правдами, он пользовался одним и тем же приемом: сначала брал факты в долг у реальности, потом запускал в действие

приводной ремень своей фантазии, после чего отдавал взятое взаймы, поражая собеседника оригинальностью выводов. В подкрепление своего мнения он, как фокусник, вытаскивал из рукава всё новые доказательства и принимался жонглировать ими.

Порой он вел себя как персонаж Борхеса, написавший статью о возможности обогащения шахмат, устранив одну из ладейных пешек. Герой рассказа всячески размышлял об этом новшестве, даже вроде рекомендовал его, но в конце концов всё же отвергал.

Услышав, что я провел целый день с ним, Юрий Разуваев удивился: «И тебе удалось это? Как ты выдержал?»

От потока информации и фонтана идей голова шла кругом и приподнятость от того, что тебе, тебе лично излагает свое сокровенное великий шахматист, сменялась раздражением: ну сколько же можно? Вспоминались строки Высоцкого: «все мозги разбил на части, все извилины заплел...» и, дивясь хитросплетениям его мыслей, я думал: хорошо все-таки, что на свете есть Давид Бронштейн, и какая была бы катастрофа, если бы пришлось иметь дело с армией бронштейнов.

После получаса разговора с Бронштейном мысли начинали путаться, душа просила покоя. Собеседник как бы вступал в гравитационное поле, из которого невозможно выйти, и я порой ловил себя на мысли о том, что неплохо было бы вернуться из 1951 года и рокировки ферзем в реальный мир обычных людей.

Когда он общался с молодыми, те, польщенные вниманием маэстро, поначалу с пиететом внимали ему, но, будучи не в силах переварить поток идей, старались поскорее освободиться от плена, внимание их рассеивалось, и бронштейновские пули уходили в молоко. Он восхищал людей или раздражал их, но чаще восхищал и раздражал одновременно.

Однажды, выиграв партию у эстонского кандидата в мастера, сказал тому: «Зачем вы играете в шахматы, вы же ничего не понимаете в них, на самом деле это же элементарная

игра, элементарная...» И завел свою обычную пластинку, озвучивая мысли человеку, играющему в шахматы просто для удовольствия.

Евгений Алексеевич Кальюнти – историк архитектуры и любитель шахмат неоднократно встречался с Бронштейном в Таллине. Он вспоминает, что напор словесных атак Бронштейна был настолько высоким, что после часовой беседы с ним его охватывала чудовищная усталость, как после тяжелых марафонов, в которых Кальюнти тогда регулярно принимал участие.

Эстонец прекрасно понимал, что имеет дело в первую очередь с выдающимся шахматистом и, видя все странности Бронштейна, воспринимал его только в таком качестве.

«Пару раз он приглашал меня в гостиницу, – вспоминает Кальюнти. – На подоконнике его комнаты стояла початая бутылка коньяка. “Не хотите ли рюмочку – предложил однажды Бронштейн, – это ведь тоже способ снять напряжение. Знаете, мы ведь работаем на больших оборотах”».

Его не знающий покоя ум искусно плел новые сети, затягивая в них слушателя, еще не выбравшегося из предыдущих. Однажды, воспользовавшись паузой, взятой им для перевода разговорных стрелок, сказал ему, что в колледже иезуитов одним из наказаний было наложение молчания сроком от получаса до целых суток. Последнего наказания ужасно боялись.

«Это вы меня имеете в виду?», – заметил он и так по-детски улыбнулся, что я тут же пожалел о сказанном.

Он не был скуп на время и мог провести за любимым занятием долгие часы. Когда он повествовал не о шахматах, боготворившие его слушатели не могли не заметить, что имеют дело с человеком, избывающим идеями, зачастую далекими от реальности, иногда оригинальными, порой – смехотворными.

Иногда беспрерывно вращающиеся шестеренки его мозга перегревались, темп речи ускорялся, он возбуждался, и жена, предлагая сбросить обороты, призывала его к порядку: «Дэвик, спокойней! Спокойней!» Скорость монолога за-

медлялась, но ненадолго; через несколько минут он возвращался к привычному темпу.

Однажды они с женой гостили в семье Кена Нита, англичанина, худо-бедно владеющего русским языком, шахматиста и переводчика. Кен вспоминает, что водопад безостановочно обрушивающихся на него идей был настолько плотен, что к концу дня он был совершенно изнеможен.

«Дэвик говорил по-английски вполне пристойно, – вспоминает Нит, – но иногда, увлекаясь, переходил на русский, нисколько не снижая темпа». «Дэвик, – прерывала его жена, – ну, почему ты употребляешь слова, которых даже я не знаю? Ты подумал, каково приходится Кену?»

В старом Китае художники рисовали в основном пейзажи; писать портреты не было столь престижно: считалось, что художник неминуемо приспособливает свой талант к настроению того, кто ему позирует. Такое ощущение не могли не испытывать соавторы и собеседники Бронштейна.

Польщенные вниманием великого шахматиста, они попадали под его влияние и выслушивали затравленного властью гения, непризнанного философа, несостоявшегося математика. Их шахматная квалификация мало интересовала Бронштейна, они же, внимая маэстро, чувствовали себя избранниками Каиссы.

Его собеседники (в том числе и я) из пиетета к великому шахматисту и очень ранимому человеку не решались задавать жестких вопросов и укрепляли в нем самомнение и упоение собственной уникальностью.

Если я и не соглашался с ним, то по существу возражал очень редко, хотя много раз имел что возразить. Сознание того, что я разговариваю с выдающимся шахматистом и в то же время с человеком не вполне адекватным, никогда не покидало меня.

Великий мастер по отбору лошадей назвал буланого жеребца гнедой кобылой, а его соперник, узнав об этом, восхитился: не обращая внимания на мелочи, мастеру удалось посмотреть прямо в суть.

Большинство слушателей Бронштейна видели в буланом жеребце только жеребца и прощали мастеру его парадоксы только потому, что их высказывал великий шахматист.

Слова «ну, вот видите, вы меня полностью понимаете», и «я вам первому этому говорю», я слышал от него не раз. Слова эти слышали, без сомнения, и другие, но всё равно они создавали впечатление интимного и очень доверительного. Его монологи можно было бы принять за исповедь, но я не рискнул бы назвать их исповедями, тем более что перед многими не исповедываются.

Корчной, пригласивший Бронштейна в 1991 году в Брюссель на матч с Тимманом, так и не воспользовался его услугами. «Он так много говорит, что у меня начинает от этого болеть голова», – объяснил Виктор своим секундантам.

«Он доверительно уводит “жертву” в сторону и тихим, почти без интонаций голосом, скороговоркой начинает излагать идеи, соображения, взгляды. Порой любопытные, порой забавные, порой нравоучительные, но всегда оригинальные, неожиданные и парадоксальные. И если чувствует, что слушатель затянут в паутину замысловатых хитросплетений его монолога, Бронштейн испытывает истинное удовлетворение» – вспоминает Марк Тайманов.

За несколько минут до начала тура Мемориала Кереса в Таллине Бронштейн начал прямо на сцене что-то темпераментно объяснять Биллу Хартстону. Англичанин слушал, не решаясь прервать именитого собеседника, а участники турнира сочувственно кивали головами и, улыбаясь, проходили мимо.

Это было его нормальным состоянием – генерирование идей, выдвижение гипотез. Борис Гулько вспоминает, как однажды в Киеве им в ресторане подали холодный суп. Бронштейн тут же начал фантазировать: «Интересно – почему суп холодный, его что, в холодильнике держали? Или только тарелки в холодильнике? Или, может быть, тарелки просто поставили на холодильник? Нет, в этом случае они не должны были быть холодными. Странно, странно. А может быть, ...»

Иногда он плел словесную паутину исключительно ради узора, упиваясь хитросплетениями идей и, пытаясь найти оригинальное решение, настаивал, что конечный ответ пусть и правилен, но может быть получен более элегантным способом.

Когда он излагал свои теории, ловко подгоняя доказательства под обозначенную цель, вспоминался юноша, стрелявший из лука а потом уже рисовавший мишень вокруг застрявшей в деревянном щите стреле.

Наткнувшись однажды на кусок прозы: «He was sometimes then more than ten. He was sometimes then with more than one. He was sometimes then with three. He was sometimes then with one. He was sometimes then with not any one. He was sometimes then with another one», я подумал: это могло быть сказано о Бронштейне. Или самим Бронштейном.

В другой раз, прочтя – «нет различия помимо различий в мере между различными мерами различия и отсутствия различия», поживившись, я тоже вспомнил Давида Ионовича.

Трудно представить, как он мог собраться, сконцентрироваться, настроиться на игру: он продолжал говорить едва ли не после того, как звучал сигнал к началу тура и включались часы.

Виктор Купрейчик, не раз игравший вместе с Бронштейном в динамовских соревнованиях, старался перед партией не общаться с ним, а Любош Кавалек вспоминает, как на турнире в Тиссайте, когда он решил сесть за столик в ресторане рядом с Бронштейном, Горт отговорил его: все, кто обедали вместе с Дэвиком, одурманенные его речами, проигрывали потом безропотно свои партии.

Герой Шолом Алейхема, которого писатель определил как «человек воздуха», склонен к постоянному мудрствованию. Вся работа Менахема Мендела из Егупца основана на том, что «его мозг беспрерывно вырабатывает комбинации».

Помимо того, что у «человека воздуха» в голове роятся наползающие одна на другую сотни идей, он уверен, что

богатство портит человека, богатство – зло, химера. И хотя пословица – бедность не порок – в постсоветской России как-то потеряла свое обаяние, такой взгляд на мир был тоже очень характерен для Дэвика: «человеку воздуха» не место среди сильных и богатых.

Он мог заступаться и привечать людей еще меньше чем он сам приспособленных к жизни. До эмиграции в Израиль его довольно часто навещал в Москве Яков Мурей. Были они в чем-то схожи, и мало кто удивился, узнав что Бронштейн пригласил Мурея помогать ему на первенстве Советского Союза в Ленинграде в 1971 году.

Яков Исаакович вспоминает, как в свободный день они посетили родственников Дэвика, живших в Питере. Бронштейн был особенно очарован историей, рассказанной хозяином дома, клявшимся и божившимся, что это действительно случай времен его юности.

В 1925 году в шахматном павильоне «Сада Отдыха» на Невском какой-то зазывала предлагал сыграть на интерес с невысоким застенчивым подростком в очках. Давид Ионович, услышав эту историю, просил рассказать ее еще и еще раз, требуя всё новых подробностей о своем недруге.

Хотя общение с Бронштейном было нелегким испытанием для собеседников, наградой им, когда он был в ударе, были рассыпанные блестящие яркие сравнений, остроумных мыслей, неординарных выводов, навсегда оставшихся в памяти у его слушателей.

Вот один из многих монологов, запомнившихся голландскому гроссмейстеру Хансу Рее: «Посмотрите на позиции на демонстрационных досках, – говорил Бронштейн, когда мы прогуливались, ожидая хода соперника, – а теперь взгляните на шахматистов: согбенная спина, голова, зажатая в тиски между ладонями, опасливые взоры, такое впечатление, что они думают, хотя все эти позиции встречались на практике уже сотни, тысячи раз. Накоплен вековой опыт разыгрывания их, каждый более или менее знает, как следует играть в таких положениях. И что? Шахматисты думают?

Нет, они боятся допустить ошибку в расчетах. Может быть, они получают удовольствие от красивых идей? Ни в коем случае. Они просто не могут обойтись без напряжения, возникающего в процессе самой игры. Почему бы им не сунуть палец в электрический штепсель, если они так уж не могут жить без напряжения?»

В другой раз, наблюдая за короткой ничьей, где соперники повторили общеизвестные ходы, Дэвик заметил: «Пусть все, кто не хочет рисковать, согласятся на ничью друг с другом до турнира. Таблицу заполнят, и останется сыграть только несколько туров...»

В ответ на вопрос, можно ли считать книгу «Ученик чародея» сборником его лучших партий, отвечал: «Нет – это сборник худших партий моих противников».

В первенстве Москвы 1963 года в партии с Симагиным Бронштейн после 1.d4 ♘f6 сыграл 2.g4?!? Партия закончилась вничью. Комментарий Бронштейна: «Симагин подписал бланк и небрежно сказал: “У тебя тут ничего нет. Я этот ход долго анализировал”» Вот так. Иди знай, что играешь с экспертом».

Против знатока испанской Алексея Суэтина после 1.e4 e5 2.♘f3 предлагал сыграть 2...a6, а потом спокойненько забрать слона: «Он же дебют автоматически разыгрывает, совершенно не обращая внимания на ходы соперника...»

После выигрыша у Геллера красивой партии в варианте Земиша защиты Нимцовича у него спросили, когда именно родилась идея комбинации. Бронштейн ответил: когда я пошел a2-a3 на четвертом ходу.

«В ладейном эндшпиле три против трех на одном фланге при сдвоенных пешках “f” у слабейшей стороны ничью легче сделать, если пешки “h” вообще нет, – заявил однажды Бронштейн, – двух пешек совершенно достаточно, у короля больше пространства для маневра, пешка “h” только мешает...» Обижался, когда внимавшие ему, переглядывались, с опаской посматривая на маэстро: «Ну что вы на меня смотрите, вы на позицию смотрите...»

Послевоенное десятилетие Давид Бронштейн находился на вершине мировых шахмат. Но проблема всех вершин в том, что дальше – спуск! Так же как для альпиниста, для шахматиста зачастую он оказывается труднее подъема.

Хотя через несколько лет после матча на мировое первенство Бронштейн оказался в палаточном лагере, отстоявшем от вершины сначала на один, а потом и на несколько уровней, он продолжал вести себя, как будто стоял еще на самом верху и требовал соответствующего отношения к себе.

Его могло задеть совершенно невинное замечание, даже интонация, и беседовавшие с Бронштейном должны были быть очень внимательны в выборе выражений. Уверен, чувство – как бы не обидеть ненароком знаменитого гроссмейстера – присутствовало у каждого, общавшегося с ним. Постоянно находясь в состоянии затаенной обиды, он болезненно относился к малейшему намеку на неуважение к себе, видя пренебрежение там, где его не было и в помине.

Даже комплименты, отпускаемые ему коллегами, не казались ему таковыми. Полугаевский назвал его однажды «наихитрейшим и наиковарнейшим гроссмейстером», без всякого сомнения имея в виду фантазию и изобретательность Бронштейна.

Давид Ионович тут же дал отповедь в печати. «Не знаю, как воспринимать эпитеты – как похвалу или как осуждение. Я долго думал: не позвонить ли ему и спросить, не нужен ли коллеге 17-томный словарь литературного русского языка, из которого он бы мог выбрать для характеристики моего шахматного стиля слова чуток помягче», – писал Бронштейн.

Если бы он знал, что слово «хитрость» на древнерусском означало «искусство», а «хитрый» – «художник», он, может быть, смирился с «хитрым Дэвиком», так прилипшим к нему.

Как-то Василий Иванчук начал: «Вот я видел одну вашу партию...» Сразу следует вывод Бронштейна: «Одну партию... Что он хотел сказать этим? Одну партию?..»

Карпов после ничьей с ним заметил: «Давид Ионович! А вы неплохо играете в шахматы!» «Почему он мне так сказал?» – не мог успокоиться Бронштейн. – Не понимаю. Не понимаю...»

Юрий Разуваев, выиграв азартно поставленную Бронштейном партию, сказал: «Со мной так нельзя играть...»

Обида на Разуваева, всегда восхищавшегося выдающимся талантом Бронштейна, помнится годами.

Не проходит обида и на итальянцев, вручивших при имени Джоакино Греко в 1990 году Ботвиннику, а не ему.

А почему при посещении клуба в Париже давняя знакомая Бронштейна, представляя его, «не сказала посетителям клуба, что у нас в гостях знаменитый шахматист и не предложила наградить его аплодисментами?»

Когда в 1991 году он приехал в Гастингс, его включили во второй турнир. Саркастически спросил организаторов: «Скажите, а если бы к вам приехал Капабланка, вы бы его тоже включили в побочный турнир?»

Досталось и Реймонду Кину, написавшему: «Бронштейн наверняка не был достойным противником Ботвинника образца 1948 года».

Реакция Бронштейна: «Любопытно, с чего это он взял? Ведь до этого мы с Ботвинником сыграли две партии, и счет был 1,5:0,5 в мою пользу?»

На Спартакиаде народов СССР в 1979 году Бронштейн был запасным в команде Москвы. Его партия с Панченко осталась неоконченной, и капитан команды решил проконсультироваться с Петросяном и Смысловым, тоже игравшими за сборную столицы. Оба рекомендовали один и тот же план: четкую расстановку фигур, ведущую к постепенному техническому выигрышу.

«Нет, Бронштейн так не играет!» – заявил Давид Ионович.

Борис Постовский вспоминает, что Бронштейн был раздражен самим фактом обращения к экс-чемпионам мира: «Они что, лучше меня понимают шахматы?» При доигры-

вании он пошел по собственному замысловатому пути, и партия закончилась вничью.

Во время турнира в Кисловодске в 1968 году скоропостижно скончался Владимир Симагин. Устроители турнира связались с Москвой – что делать: прервать соревнование? продолжать играть? Ответ последовал довольно быстро: довести турнир до конца.

«Видите, умер Симагин, и турнир продолжается, как ни в чем не бывало, – комментировал Бронштейн, – а вот если бы умер я, как вы думаете, продолжали бы играть?..»

Яков Нейштадт вспоминает, как в 1974 году, когда самолет с группой советских туристов подлетал к Ницце, где проводилась Олимпиада, Бронштейн очень волновался: «Интересно, приедут ли в аэропорт встречать меня, я ведь все-таки матч на первенство мира играл...»

В теоретической колонке «New in Chess» я написал о королевском гамбите и о партиях белорусского гроссмейстера Федорова, едва ли не единственного в конце девяностых годов осмеливавшегося применять этот дебют на высоком уровне. Бронштейн обиделся: я не упомянул его имени, хотя речь шла только о последних веяниях в этом, почти совершенно вышедшем из практики дебюте.

Вспыхнул однажды: «Вы пришли к такому выводу? Если вы откроете “Шахматную Москву” за 1959 год, увидите, что я писал по этому поводу еще сорок лет тому назад...» – вынуждая меня смиренно опускать голову.

В причудливых изгибах его мысли можно было найти элементы скепсиса, иронии, но никогда – по отношению к самому себе. Бронштейн обличал, шутил, сравнивал, эпатировал, философствовал, скептически улыбался, сокрушался, жаловался, но я не могу припомнить в его речах хоть какой-то намек на самоиронию.

У Ботвинника тоже непросто найти самоиронию, для него была характерна скорее трезвая оценка. «Прошу критически отнестись к моим высказываниям, ведь известно,

что пожилые люди обычно считают, будто раньше всё было лучше...» – написал однажды Ботвинник.

Пожилые люди? Это стало больным местом Бронштейна задолго до того, как он сам стал пожилым. Молодые, их отношение к шахматам, их гонорары, их самомнение и прагматизм стали для него больным местом. Что они в самом деле думают себе, эти молодые?

Немало людей испытывают стыд, вспоминая молодые годы. Другие – грусть. Грусть по тому времени, когда бурлила кровь, когда мог свернуть горы, когда даже не задумывался о будущем: безграничное, оно просто не существовало. Грусть по ушедшим дням нередко оборачивается ворчанием и осуждением молодых: если собственную молодость не вернуть, появляется неприязнь и зависть к чужой. К высокомерию, бесшабашности, безоглядству, кажущихся с высоты прожитых лет глупостью.

Уход с авансены – тяжелый экзамен, и далеко не все выдерживают его: ведь стареть много труднее, чем читать красивые метафоры о старости знаменитых философов.

Шахматы на высоком уровне – жестокое занятие и в отличие от других, «нормальных» профессий, успех шахматиста – всего лишь отсроченный провал. Старость в спорте приходит много раньше чем биологическая и воспринимается значительно болезненнее, поэтому трагедия старения должна быть преодолена по возможности с меньшими потерями.

Бронштейн тоже столкнулся с проблемой, которую рано или поздно должны решать все профессиональные шахматисты: что делать, когда результаты медленно, но верно снижаются и конца падению нет?

Он добился выдающихся успехов, когда ему едва перевалило за двадцать. В таком возрасте редко задумываешься о будущем, и реакция человека на молодых, идущих на смену, непредсказуема.

От него не раз можно было услышать: «Да мы с Болеславским так играли еще до войны в легких партиях в ки-

евском Доме пионеров...» Или: «Не пойму, почему я должен что-то доказывать молодым шахматистам, я могу их учить!»

Он не хотел мириться с тем, что слава тоже ветшает, а вчерашний успех принадлежит вчерашнему дню. «Меня оттерли на обочину шахматной жизни», – повторял Бронштейн, не желая признать очевидного: на обочину жизни к старости оттирается каждый.

Особенно это заметно в спорте, где нет скидки на возраст, усталость, плохое самочувствие, где требуются постоянные доказательства успеха. Успеха, базирующегося не на разговорах о былых заслугах, а сегодняшнего, живого успеха, подтвержденного результатами в турнирной таблице.

Старики, повторяющие мантру «раньше было лучше», правы, по-своему, потому что раньше для них не было никакого «раньше», все было только сейчас и в будущем.

Молодой Джонатан Свифт составил свод правил, которых обещал придерживаться, когда постареет.

«Не выказывать чрезмерной суровости к молодым, наоборот, быть снисходительным к слабости и заблуждениям юности.

Не говорить много, особенно о себе.

Не слушать льстивых уверений.

Не повторять без конца один и тот же рассказ в одной и той же компании.

Не раздавать налево и направо советы, не докучать ими тем, кто в них не нуждается.

Не быть брюзгливым, угрюмым или подозрительным.

Не позволять друзьям хвалить себя и вообще преднамеренно не возбуждать к себе внимания».

Вряд ли эти правила попадались когда-нибудь на глаза Давиду Бронштейну. Будучи оттесненным во второй ряд, а потом и в арьергард, он так и не смог смириться с этим. «Молодые думают...» – частенько начинал свой монолог Давид Ионович.

Игравшие с ним в 70–80-е годы прошлого века, когда его практическая сила пошла на убыль, а поток философских рассуждений наоборот усилился, считают, что его жизненный перформанс был вполне осознан.

Одни называли его чудачком, другие – очень себе на уме, третьи – человеком неискренним, лукавым, ужасным занудой, самовлюбленным, хитрым, зацикленным на себе. Некоторые употребляли модное словечко «ку-ку» и многозначительно крутили пальцем у виска.

Говорили о полном комплексов, неадекватном в поведении человеке, явно не соответствующем имиджу им самим созданному, тщательная недосказанность откровений которого являлась кокетливым продолжением игры, рассчитанной на проявление сочувствия и восхищения.

У Виктора Корчного был период, когда он был с Бронштейном в очень близких отношениях: «Мы были знакомы почти шестьдесят лет, но всю жизнь были на “вы”. Хотя разница в возрасте не была такой большой, я всегда называл его Давид Ионович, а он меня Виктор.

Рядом со своими коллегами он выглядел как пария, да и вел себя как пария. Он – несчастный человек. Невезучий, невезучий... Ему на роду написано было быть невезучим. Так продолжалось десятки лет, он всю жизнь был несчастным. Такая несчастная, жалкая, шолом-алейховская фигура. И не случайно, Смыслов, пусть несколько лет, но стипендию пристойную получал, да и Тайманов тоже, а он – как обычный пенсионер по возрасту и больше ничего, это ведь не случайно...»

Александр Никитин знал Бронштейна шесть десятков лет: «В психике Давида Ионовича была какая-то щербинка. С годами эта щербинка всё более увеличивалась, а с возрастом он обиделся на всех шахматистов. Был нелегким в общении, влюбленным в себя человеком с постоянным рефреном: я столько отдал шахматам, а шахматисты мне ничего не вернули. Ничего...»

Владимир Тукмаков тоже не раз играл и беседовал с Бронштейном. «Его многочисленные идеи, его стиль и повадки казались мне чистой игрой на публику, – говорит украинский гроссмейстер. – Хотя Бронштейн был, без сомнения, человеком идейным и творческим, его экстравагантность и оригинальность любой ценой не могли не раздражать. Желание соответствовать собственному имиджу было настолько важно для Бронштейна, что, несомненно, мешало ему в шахматах.

Уверен, что этот перекося помешал ему полностью раскрыться в спортивном плане. У Корчного тоже был такой перекося, но он с этим боролся и, как следствие, прогрессировал, в то время как Бронштейн своей вычурностью гордился, культивировал и лелеял ее. Не удивлюсь, если и его противопоставление себя официозу не было идейным, а также носило характер эпатажа.

Но признаю, что многие его идеи, казавшиеся тогда завиральными, попросту опередили время, а я был слишком молод, чтобы оценить эти идеи по достоинству.

Лев Альбурт говорит, что идеи Бронштейна всегда казались ему заумными и эксцентричными: «Он полностью подчинял собеседника в разговоре, и многое в нем мне казалось фальшивым, псевдо-оригинальным, вычурным...»

Альберт Капенгут вспоминает, что все его беседы с Бронштейном были развернутыми монологами Давида Ионовича, причем однажды Бронштейн в течение часовой тирады переменял свое мнение на противоположное, а потом, лукаво поглядывая на собеседника, снова вернулся к первоначальному, так что у Капенгута создалось впечатление, что собеседник его просто испытывает, как подопытного кролика: «Он любил купаться в безграничном восхищении слушающих, чтобы все смотрели на него зачарованным взором. Любил за анализом, сказав одну из своих бессмертных фраз, окинуть взглядом собравшихся и победоносно удалиться».

Международный мастер Александр Вейнгольд нередко общался с Бронштейном в Испании и Эстонии, когда Давид Ионович приезжал на турниры в Таллин.

«Тяжелый, больной человек, – вспоминает Вейнгольд. – Хитрый, как все шизофреники, Бронштейн считал себя свободным человеком.

Если он и был свободен, то это выражалось в свободе его полного эгоизма, позволявшей ему делать то, что было хорошо, в первую очередь, для него самого».

Марк Дворецкий, не раз встречался с Бронштейном в московских и всесоюзных соревнованиях: «Он считал только себя шахматистом творческим, а всех молодых начетчиками. Несколько раз в партиях с ним мне удалось удачно выпутаться из трудных положений. “Вы слишком быстро играете, – говорил Бронштейн, очевидно раздраженный результатом партии, – это неуважение к сопернику...” Однажды, моментально разыграв длиннющий форсированный вариант и выиграв, Бронштейн изрек, обращаясь к публике: “Он думает, что он один умеет играть так быстро...”

В другой раз в разговоре с ним я обронил что-то негативное о партийной элите. Давид Ионович прервал меня: “У них есть моральное право, они жили в землянках, боролись...” И сколько я ни повторял: “Помилуйте, в каких землянках, это же номенклатура, живущая в шикарных квартирах и на правительственных дачах. Они приезжают туда на «Чайках» с шоферами, при чем здесь землянки?” – Бронштейн твердо стоял на своем. Я видел его в самых разных ситуациях и считаю позером и человеком насквозь фальшивым».

В 1973 году Бронштейну не удалось пробиться из межзонального турнира в Бразилии в кандидатские матчи. Свою неудачу он объяснял так: «Понимаете, я шел в турнирной таблице после Савона, а тот играл с нашими конкурентами и проигрывал им всем – Гортю, Мекингу, всем. Да еще белыми. Так что мне ничего не оставалось, как с ними черными на выигрыш играть. Мы же все одной делегацией были, нас Спорткомитет, как-никак, командировал, вот я и старался... Так что из-за Савона и не вышел, кто мог знать, что он в такой форме окажется...»

В другой раз говорил, что ему «стыдно было выходить в турнир претендентов на чужих костях»: Бронштейн заме-

нил в межзональном скоропостижно скончавшегося Леонида Штейна. Потом находил какую-то иную причину...

Проиграв эндшпиль ладья против ладьи и слона, обижался на Смыслова: зачем тот играл с ним теоретически ничейное окончание?

Хотя сам в течение пятидесяти ходов мучил Суэтина в окончании ладьи с конем против ладьи, подводя логические аргументы под собственные действия во втором случае и осуждая соперника в первом.

Корчной вспоминает, как однажды Бронштейн, предавшись воспоминаниям, неожиданно заявил ему: «Помните, как в последнем туре чемпионата страны в Ленинграде в 1960 году я сплавил Геллеру?»

«Сплавил??? Зачем?»

«Во время тура я вдруг увидел, как беззастенчиво Крогиус сплавляет Петросяну. Оставить Петросяна в одиночестве чемпионом страны было выше моих сил. В прекрасной позиции я некорректно пожертвовал фигуру и вскоре сдался».

«А я? Обо мне вы забыли?» – разволновался Корчной. Он тоже боролся тогда за чемпионское звание.

«У вас была плохая позиция. А Петросяну надо было помешать...»

Переиграв обе партии последнего тура того чемпионата Советского Союза, можно увидеть, что и партия Бронштейна с Геллером, и партия Петросяна с Крогиусом, протекали по несколько иному сценарию.

Из атаки Бронштейна ничего не получилось, и на доске возник типичный сицилианский эндшпиль, довольно перспективный для белых. Пытаясь переломить ход событий, Бронштейн азартно пожертвовал фигуру, но Геллер отразил все угрозы и выиграл.

Крогиус же всегда очень трудно играл с Петросяном, проиграв тому черными все партии. На этот раз он долгое время балансировал на краю пропасти, упорно защищался, но все-таки после пяти часов игры на 41-м ходу вынужден был капитулировать.

В 1994 году интервьюер спросил у него: «Говорят, вы можете подобрать ключи к любой программе. Как вам это удастся?»

Бронштейн загадочно улыбнулся: «Пока это секрет. Вот брошу играть, тогда, может, расскажу».

«Значит, вы сознательно играли не в полную силу?»

«Нет, просто с компьютером я играю лучше. С людьми я стеснялся играть изо всех сил, мне казалось, что это направлено лично против соперника».

Сокрушался: «Сколько красивых замыслов погубил я из-за того, что находил за партнера какую-нибудь встречную комбинацию, которая чаще всего оказывалась миражом – издержками моей неумной фантазии!»

Объяснял неудачи: «Я проиграл массу староиндийских белыми, не желая показывать пути выигрыша против “своей” защиты».

Когда Бронштейн озвучивал эти и подобные мысли, недоверие не могло не закрасться в душу собеседника и тот не мог избавиться от мысли, что Давид Ионович не вполне искренен, чтобы не сказать больше.

На Востоке известно выражение «надушить скорпиона». Именно о самообмане и лицемерии чаще всего говорили те, кого я расспрашивал об их беседах с Давидом Ионовичем Бронштейном.

После того как удача стала от него отворачиваться всё чаще, демонстрировавший раньше высокие профессиональные качества Бронштейн стал ратовать за фантазию и «творческие» шахматы и порицать «спортивные», как противоречащие природе игры.

Ставя красоту выше результата партии, но в высшей степени профессионально борясь за победу, за очко, он нередко оставлял у соперников чувство несоответствия мысли и дела.

«Фантазия, фантазией, — замечает Любош Кавалек, — а как получит перевес, так вцепится и не отпустит, прибьет железной рукой. А то, что ссылался на свои партии, среди которых множество красивейших, то здесь нет противоре-

чия: выдающийся шахматист Бронштейн обладал очень ярким, запоминающимся стилем. Был он, конечно, замечательным художником шахмат, но было в нем и немало лукавства, притворства: всю жизнь был профессионалом, а создавал себе репутацию любителя-импровизатора. С возрастом это только усугубилось и приобрело гротескные черты».

На одном из Кересовских мемориалов в Таллине Александр Вейнгольд предложил гроссмейстеру ничью в чуть лучшем эндшпиле. «Очень воспитанный молодой человек, – похвалил его Давид Ионович. – Какой-нибудь Романишин возил бы меня здесь еще сто ходов...»

Возмущался: «Сплошь и рядом их комментариев на 22-м ходу – “обычно здесь играют так...” Да не было в мое время таких комментариев! Нам в голову не приходило анализировать на 20 ходов вперед...»

В пятидесятых годах «табия» в Нимцовиче, с которой начинались в том числе и его собственные партии, возникала после доброго десятка ходов, да и потом нередко следовала длинная цепочка обязательных продолжений. А в испанской! А в староиндийской!

Повторял не раз: «молодые звезды танцуют на наших могилах, в то время как мы еще живы! Живы! Они взяли наши шахматы, присвоили себе наши мысли, они играют одни и те же, изученные вдоль и поперек позиции – и вся эта помпа выглядит смешной.

Они эксплуатируют имидж, созданный прошлыми поколениями, что шахматы суперинтеллектуальная игра, игра королей. Послушать иных звезд, так до них никто ничего не понимал в шахматах. Как не стыдно им в начале третьего тысячелетия переставлять на третьем ходу слона на с4, как это делали Андерсен и Морфи еще двести лет тому назад. Громадные призы, телевидение, спонсоры, рекламная шумиха – и все должны верить им, как тяжело было захватывать линию “с”. Как будто они захватывали ее руками, брали бульдозер и вручную тащили его на линию “с”!»

«Идет бесконечный конкурс. Выигрывая сегодня, вы всё равно завтра снова подвергнетесь проверке... на силу здоровья и работоспособность таланта», – жаловался Бронштейн, забывая, что такой конкурс лежит в основе любого вида спорта, и что он сам безжалостно подвергал такой же проверке довоенных корифеев.

Ворчливость, переоценка прошлого, жалобы на молодых, на неудавшуюся жизнь – всё, давно известное психологам – проявились у него задолго до наступления настоящей старости. Он не хотел признавать, что любое следующее поколение очень скоро (и в шахматах еще скорее, чем в жизни) становится предыдущим, а попытка задержать историю, вернее, сфокусировать всё внимание на том отрезке ее, когда тебе выпала судьба быть на первых ролях, заранее обречена на неудачу.

Но следует и признать: в его время природный талант в шахматах действительно играл бóльшую роль чем сегодня, когда работоспособность, дисциплина, характер, крепкая нервная система и здоровье очень часто подменяют данное природой.

Эмиль Гилельс сказал однажды: «так, как я играл в свое время на конкурсе Шопена, сейчас играет каждый ученик седьмого или восьмого класса музыкальной школы».

В шахматах рядовые игроки тоже идут дальше точки, достигнутой гениями предыдущего поколения. Бронштейну не хватало философской объективности Ласкера, отдавшего на склоне лет должное «старикам» Стейницу, Шлехтеру, Таррашу, Тейхману, Бернштейну, но признавшего, что «у них отсутствовала точность, с которой современные мастера добиваются побед, реализуя малейшее позиционное преимущество».

Сказал однажды: «А Крамник что? Вот он говорил мне – “вам проще было, вы могли много больше себе позволить, вы играли без нюансов. Теперь же идет очень жесткая игра, ход в ход”. Нашел кому говорить о нюансах! Да и вообще, можно подумать, что они сейчас плетут на шахматной доске брюссельские кружева, а мы все – от Филидора до Фише-

ра – были дровосеки... Молодые думают, что шахматы с них начались».

Зряшная обида: во времена Бронштейна игра шла на нюансах сороковых-пятидесятых годов, сегодня – на нюансах современных шахмат. Нет никакого сомнения, что грядущим поколениям многие тонкости в партиях Крамника тоже покажутся наивными.

Ему не нравилось, что с шахмат сорван покров сказки, что тайнами игры можно овладеть в очень юном возрасте, а тирания старших над младшими в шахматах сменилась тиранией младших над старшими.

Не нравился и современный шахматист-профессионал, рассуждающий о призах, гонорарах и контрактах и стилизующий себя под предпринимателя.

Возмущался: «Эти молодые гении сегодня. Я вот слышал, что гроссмейстер N собирается покупать вторую машину. Мало ему видите ли одной, так ему еще новую подавай... Вот в наше время... Им не надо платить такие безумные деньги – их игра того не стоит. Это единственный пункт, в котором я согласен с Ботвинником».

Молодые, всегда свысока смотрящие на стариков, снисходительно слушали его рассуждения о добрых старых временах. «Мне не нужны ваши стихи и рассказы, мне нужно расписание поездов», – вслед за героем Честертона могли бы сказать они. Как всякий человек, переживший эпоху, он был чуть-чуть смешон и не замечал, как слушатели, внимая его речам, порой многозначительно поглядывали друг на друга.

Еще Набоков отмечал, что разница между комической и космической сторонами вещей заключается в одной свистящей, а Бронштейн к тому же немного шепелявил.

Как всегда в высказываниях Бронштейна немало противоречий: с одной стороны – «элементарнейшая игра, высокое мастерство в которой доступно даже детям», с другой – «спортивный накал партий, жестокое интеллектуальное избиение, если учесть, что гроссмейстеры не только должны

шесть раз в неделю выдерживать мозговой штурм у критической отметки и находить пути к скорейшему восстановлению обычных функций организма, но и искать способ жить нормально всю оставшуюся бесшахматную часть жизни. Не все с этим справляются одинаково хорошо, некоторые впадают в депрессию, другие чересчур веселы, третьи начинают швырять камни в стеклянный дом, в котором сами недавно процветали и блаженствовали».

Это относилось прежде всего к нему самому, даже если он заканчивает рассуждения почти библейским пожеланием: «В будущем всё изменится к лучшему, ибо исчезнут зависть и недоброжелательность, поэтому не будет нужды ни в жалости, ни в благотворительных хвалебных откликах, на которые мы сегодня все такие охотники».

Как и почти во всем, что говорил Бронштейн, можно найти и полностью противоположное высказывания.

Сказал однажды: «Как часто любят повторять неудачники и нытики: “а вот раньше!”, “а вот если бы!”... Как будто при иных обстоятельствах они не нашли бы причин для оправдания своих ошибок».

Или: «Нынешнее поколение взяло на вооружение все комбинации, которые проводили мы, старики, как элементы техники. Так же как я, Смыслов, Керес взяли игру Капабланки, Ласкера, Алехина. Я как-то сказал Флору – “Наверное, я сейчас играю лучше Капабланки”. Так тот даже подпрыгнул – “Как вы можете?!” Но это естественно, что следующее поколение берет на вооружение опыт предыдущих. И то, что раньше было красотой, превращается в технику».

Прекрасно сказано!

В близком кругу Ботвинник называл Давида Ионовича Бронштейна Броншвайном, а Бориса Самойловича Вайнштейна – Воньштейном. Воньштейн и Броншвайн.

Истоки антипатии, испытываемой Ботвинником к Бронштейну, очевидны, но чтобы понять его резко негативное от-

ношение к Борису Самойловичу Вайнштейну имеет смысл остановиться на жизненном пути покровителя Бронштейна.

Сделать это непросто: немалая часть его биографии в связи с родом его работы всегда оставалась невидимой, а сам он не любил о ней распространяться.

Всё же попробуем.

Борис Самойлович Вайнштейн родился в Одессе в 1907 году, где и прошло его детство. Маленький Боря научился читать в три года, в четырнадцать закончил школу и поступил на механико-математический факультет университета. Но было это уже в Ташкенте, куда семья бывших фабрикантов-сахарозаводчиков благоразумно перебралась после революции.

Социальное происхождение стало едва ли не решающим фактором в глазах новой власти, а Вайнштейны были слишком на виду в Одессе. Идея была очевидной – не маячить на глазах, пересидеть, переждать, раствориться на просторах огромной страны.

По той же причине оказался в Средней Азии и петербуржец барон Сергей Николаевич фон Фрейман. Безукоризненные манеры, прекрасное воспитание, знание языков, белоснежные манжеты, крахмальный воротничок – все это не могло не производить впечатление на юного Борю. Если добавить, что Сергей Николаевич, по понятным причинам расставшийся после революции и с баронским титулом, и с дворянским префиксом, был к тому же шахматным мастером, о лучшем учителе трудно было мечтать. Фрейман завоевал мастерское звание еще в 1911 году, выиграв матч у Евгения Зноско-Боровского, а в двадцатых годах имел репутацию одного из лучших мастеров страны.

Так, в чемпионате СССР 1929 года он занял второе место (12 побед в 17 партиях) и опередил большую группу советских шахматистов в том числе и молодого Ботвинника.

В Ташкенте оказался тогда и киевский мастер Федор Иванович Дуз-Хотимирский, с которым у Бориса тоже установились очень теплые отношения. В лексиконе Вайнштейна с тех ташкентских лет остались не только словеч-

ки специфического шахматного жаргона, употреблявшиеся обоими маэстро, но и пряные восточные выражения. Много лет спустя статье, посвященной собственному 80-летию юбилею, он дал заглавие «Иншалла!» – «Дай-то Бог!»

В середине и в конце двадцатых годов имя Вайнштейна довольно часто встречается на страницах шахматных изданий. Ему нравится быть на виду: Борис Вайнштейн, несмотря на молодость, возглавляет созданную им Среднеазиатскую шахматную секцию, бывает в Москве, в Ленинграде.

Очень может быть, что истоки неприязненного отношения Ботвинника к Вайнштейну относятся к тому далекому времени, когда первокатегорник Вайнштейн встретился с Ботвинником в матче студенческих команд Узбекистана и Ленинграда. Несмотря на юный возраст – Ботвиннику было только семнадцать – он уже известный мастер, с успехом выступивший в первенстве страны.

Партия между ними осталась неоконченной в эндшпиле, где у Ботвинника были две пешки за фигуру, и Дуз-Хотимирский, присуждавший партию, едва взглянув на доску, определил результат: «Что ж тут смотреть – лишняя фигура...»

Ботвинник стал доказывать, что не всё так просто, и пару раз ему удалось за анализом свести партию к ничьей. Дуз-Хотимирский заявил, что отказывается от присуждения: все знают, что Борис его друг еще с ташкентских времен.

Когда в конце концов была присуждена ничья, Вайнштейн бросил в сердцах своему сопернику: «Я вижу, что если бы стал доигрывать, то, наверное, вообще бы проиграл эту партию...»

Через два года Ботвинник стал чемпионом страны и лидером советских шахмат, но той партии не забыл, как не забывал ничего и никогда.

После окончания университета Вайнштейн некоторое время преподавал, служил в армии, отправился на строительство Байкало-Амурской магистрали, работал в качестве

рядового экономиста в НКВД, попал в поле зрения Наф-
талия Френкеля, тоже бывшего одессита, разработавшего
проект использования огромной армии заключенных в ка-
честве дешевой рабочей силы.

Очень скоро был замечен, вызван в Москву и выдвинут
на более высокие посты. Уже в 32 года (1939) Борис Са-
мойлович Вайнштейн возглавил плановый отдел Главного
управления капитального строительства НКВД, куда его
взяли сразу же после ареста Генриха Ягоды и большой чист-
ки в органах госбезопасности.

В постсоветское время, отмежевываясь от клейма зло-
вещей организации, Вайнштейн подчеркивал: «Лаврентий
Павлович Берия, если и ценил меня, то именно как человека,
обладающего способностью к синтезу идей, к разработкам
программ и к оперативной работе не допускал». Чтобы не
подумали, что он был только на вторых ролях, Вайнштейн
тут же оговаривается: «Мы у себя в “Динамо” не различали,
кто на оперативной работе, а кто, как я, экономист». Умест-
но привести и шутку Берии: «Ты, Вайнштейн, хороший ра-
ботник. Но если бы лет эдак шесть провел в лагерях, работал
бы еще лучше!»

Когда близкие и коллеги Владимира Петрова гадали,
куда вдруг исчез в начале войны гроссмейстер из Латвии,
Вайнштейн сразу узнал о его судьбе: арест, лагерь. Потом
смерть. (Кое-кто полагает, что к аресту Петрова Вайнштейн
имел непосредственное отношение. Доносы на Петрова
были подписаны тремя мастерами из окружения Вайнштей-
на. Не решаюсь комментировать этот факт).

В годы с 1942 по 1945 полковник МВД Вайнштейн воз-
главлял всесоюзную шахматную секцию. После вступления
Красной Армии в Таллин в 1944 году Вайнштейн в ответ на
просьбы о помощи Паулю Кересу, сказал, что сделать ниче-
го не может: по законам того времени эстонский гроссмей-
стер за коллаборацию с немцами должен получить 25 лет
лагерей.

Причиной отставки с должности председателя всесо-
юзной шахматной секции явился конфликт, возникший у

Вайнштейна с Ботвинником по вопросу о матче на мировое первенство.

Вспоминает Вайнштейн: «Ботвинник думал о матче с Алехиным с 1936 года. А в 1943 году, когда в войне наступил переломный момент, вновь вернулся к этой мысли. Будучи в гостях у меня, он поднял вопрос об этом матче, и я сказал, что этот матч невозможен. Что Алехин – военный преступник, и не перед Советским Союзом, а перед Францией. Он был офицером французской армии и после капитуляции Франции перешел на сторону врага. Он стал помощником Франка по культуре.

Ботвинник сказал, что всё это несущественно... Позднее он снова вернулся к вопросу о матче. Я еще работал в НКВД и спросил об этом генерал-лейтенанта Мамулова, управляющего делами у Берии, добавив, что кое-кто, правда, сомневается в его победе. Ответ Мамулова: “Выиграет или нет – не имеет никакого значения, ибо матч вообще не может состояться – Алехин военный преступник и при попытке приехать в СССР будет арестован на границе и выдан французским властям. Если, конечно, французы не затребуют его раньше из Испании”.

В то время генерал Франко стал выдавать уже военных преступников, и Алехин это знал, вот почему он и вынужден был уехать в Португалию. Салазар не выдавал военных преступников, и союзники смотрели на это сквозь пальцы. По моим сведениям Алехину, как военнотружашему, инкриминировалась измена родине. Я не думаю, чтобы его казнили, подобно маршалу Петену, но осужден он мог быть вполне... Когда Ботвинник вновь поднял вопрос о матче на заседании шахматной секции, я его в лоб спросил: “Михаил Моисеевич, я человек беспартийный, но вы-то коммунист, и мы с вами оба евреи по национальности. И я не понимаю, как вы будете пожимать руку, которая по локоть в крови коммунистов и евреев?”

На что он хладнокровно ответил, что если не состоится его матч с Алехиным, то Эйве провозгласит себя чемпионом мира, а потом проиграет матч Решевскому, и таким образом звание чемпиона мира навсегда уплывет от нас в Америку.

Когда вопрос о матче был поставлен на голосование, я заявил, что одновременно ставлю вопрос о своей отставке: если бюро шахматной секции выскажется за матч, это будет означать, что я уже не председатель».

Позиция Вайнштейна была расценена Ботвинником как покушение на него лично: тот встал на его пути к великой цели и потому до конца оставался для Ботвинника злейшим врагом, а его покровительство и безоговорочная поддержка Бронштейна в последующие годы только усугубили это крайне неприязненное отношение.

«Он был страшный человек, просто ужасный, меня ненавидел», – за полгода до смерти говорил мне Ботвинник о Вайнштейне. Называл того злым гением Бронштейна, повторял, что Вайнштейн «не хотел, чтобы я стал чемпионом мира и использовал свои связи в КГБ, чтобы помешать переговорам с Алехиным».

На заседании 1945 года присутствовал и молодой Бронштейн. «Я не поддерживаю то выступление Бориса Самойловича, – вспоминал он в конце жизни, – мне не нравится то, что он так сказал об Алехине. Но видно уж очень был он сердит на Ботвинника».

Процедуры голосований и переголосований – отдельная история, но в конце концов с разницей в один голос было принято решение о проведении матча, и Вайнштейн тут же подал в отставку.

Он остался председателем маленькой секции в обществе «Динамо», никаких других должностей в советских шахматах не занимал, ограничившись менторством Бронштейна и писанием шахматных книг.

Среди огромного множества типов, которых можно было встретить в огромной, распавшейся в 1991 году империи, Борис Самойлович Вайнштейн относился к не часто встречающимся. Еврей-интеллигент, беспартийный, с сомнительным буржуазным происхождением, он занимал высокую должность в органах безопасности.

Улыбка почти не сходила с его лица. Высокий, сухопарый, подтянутый, с прекрасно поставленной речью, он производил впечатление аристократа. Полный скептицизма и иронии, нетерпимый к точке зрения другого, он, тем не менее, не вызывал отторжения: остроумие и эрудиция перевешивали всё остальное.

Азартный человек, он был частым посетителем ипподрома, куда заглядывали знаменитые футболисты, адвокаты, журналисты, актеры, представители богемы и полубогемы Москвы того времени. Любителями скачек были и другие шахматные и околошахматные люди: Григорий Левенфиш, Давид Гинзбург, Борис Баранов, Борис Равкин.

Хотя Вайнштейн о картах писал с пренебрежением, сам любил провести вечер-другой за покерным столом. Заядлый театрал, любитель и знаток музыки, галантный джентльмен и дамский угодник, он был подчеркнута учтив. Имел репутацию широко образованного и начитанного человека. Те немногие, кто бывал у него дома, вспоминают огромную библиотеку, на полках которой стояли книги на разных языках.

Абрам Хасин, не раз бывавший у Вайнштейна, полагает, правда, что несмотря на впечатление человека очень начитанного, на самом деле знания его были поверхностны и многое в нем было наносное, внешнее. Подчеркивает его барство, едва не граничащее со снобизмом.

Что здесь сказать: Борис Вайнштейн принадлежал к организации, стоявшей в стране над всеми организациями. Близость с таким человеком Бронштейна, отмечает Хасин, оставляла у всех определенный осадок, ведь ни для кого не было секретом, где работал его патрон.

Еще резче высказался Спасский: «Не понимаю, не понимаю, — говорил он, — почему Дэвик, которого я очень высоко ставлю, попал под влияние такого ужасного человека? Почему он был на протяжении столь длительного времени рядом с Вайнштейном? Для меня это загадка... Не понимаю, не понимаю...»

Был очень сдержан, близко ни с кем не сходил, скорее имитировал близость. Талантливый организатор, самосто-

ятельно мыслящий человек – в те времена это уже само по себе было вызовом. Но если требовали обстоятельства, умел мудро, «профессионально» молчать. Понимал, когда и что нужно сказать, держал нос по ветру, клал в масть. И то: без этих качеств невозможно было работать там, где работал он.

Когда Алехина реабилитировали, быстро забыл, что говорил о нем и первым пожертвовал на памятник чемпиону мира на парижском кладбище 62 рубля 50 копеек – не так и мало по тем временам (странная, на первый взгляд, сумма по тогдашнему внутреннему курсу соответствовала 100 долларам, а какими соображениями руководствовался Борис Самойлович, жертвуя именно 100 долларов, сейчас сказать трудно).

Вспоминал уже после Перестройки, что в отделе, которым руководил, было только два беспартийных – он сам и машинистка. Объяснял свысока: «Это была правящая партия, и я не считал возможным брать на себя ответственность за управление страной. Не стану выдавать себя за такого диссидента, в своих действиях я всегда придерживался линии партии, но в партию я вступил позже, уже после смерти Сталина».

Трудно комментировать надменные слова об ответственности за управление страной и о правящей партии, как будто тогда существовали другие, но о самом человеке они говорят немало.

Застегнутый на все пуговицы, державшийся очень собранно, был со всеми на «вы» и всех называл по имени-отчеству. В ЦШК и в шахматных кругах появлялся исключительно редко: сотрудники журнала «Шахматы в СССР» и «64» вспоминают, что видели его в Клубе на Гоголевском за послевоенные десятилетия считанное число раз.

Являясь какой-то мифологической фигурой, находясь в конфликте со всеми и ни с кем в то же время, Вайнштейн производил впечатление человека, взирающего на всё как бы со стороны и по-своему. Такую же позицию занял впоследствии и Давид Бронштейн.

Знавшие Бориса Самойловича лично, неизменно попадали под его обаяние, многие утверждали, что даже если человек служит «там», показывая глазами на потолок, это еще ни о чем не говорит. Тем более, что «там» – он только начальник планового отдела. Многие считали, что «там» он только работал, а по-настоящему жил другой жизнью.

Возможна ли такая грань? Где проходил водораздел между работой и всем, интересовавшим Бориса Самойловича? Ведь долгое пребывание в любой среде в «замаскированном» виде не может пройти незаметно ни для психики, ни для ментальности человека.

Не думаю, что Борис Самойлович Вайнштейн, служивший в зловещем ведомстве, на работе только играл роль, а «настоящим» был за шахматами, в концертном зале и на ипподроме: в человеке могут превосходно сочетаться, не входя в конфликт друг с другом, самые разнообразные качества.

Вайнштейн мог рассуждать о мягкой улыбке Алеши Карамазова и о полемике его брата Ивана с чертом, после чего спокойно отправиться на работу в организацию, где черт правил бал. И многие примеры из аналогичной организации в Германии времен Третьего рейха только подтверждают этот факт.

Карьера Вайнштейна в аппарате МВД закончилась после смерти Сталина: началась чистка и его уволили. Мог он распрощаться и со свободой: тогда летели и не такие головы, но – обошлось.

Один из дядей Бронштейна (по материнской линии) уехал в Америку в 1915 году, и до войны с ним поддерживался контакт. Потом переписка прекратилась, но в сентябре 1945 года во время радиоматча СССР–США на имя Бронштейна пришла телеграмма из Нью-Йорка с просьбой подтвердить, действительно ли он является сыном Эстер-Малки. Отношения между недавними союзниками были еще хорошими, и Бронштейну велели ответить на письмо.

История с американским дядей имела продолжение в 1953 году, когда Бронштейна, как он полагал, именно из-за

наличия «близкого родственника за границей» не включили в состав команды.

Тогда матч не состоялся, но в следующем году Бронштейн уже был в составе советской команды. «Сразу по прилете в Нью-Йорк ко мне подошел капитан американской команды мастер Бисно и с таинственным видом сказал: “Вас очень хотят видеть две симпатичные девушки. Говорят, что они ваши кузины”. Понятно, что он сообщил об этом, видимо, и руководителю нашей делегации Постникову», – вспоминал Бронштейн.

Когда через несколько дней советская команда выходила из отеля, мимо Бронштейна прошел человек и произнес, не разжимая губ: «Давид Бронштейн, хорошо бы остаться в Америке». Никто этой фразы кроме самого Дэвика не слышал, и рассказал он об этом только сорок лет спустя.

Тогда же в просторном номере гостиницы «Рузвельт» была организована встреча Бронштейна с дядей и двоюродными сестрами Дэвика.

В присутствии дипломатов и представителей КГБ дядя передал Бронштейну письмо и фотографию, но когда кузина пригласила его в субботу на праздничный обед, ему рекомендовали отказаться от приглашения. Более того, Дэвику было предписано не покидать гостиницу без разрешения.

Когда советская команда после матча с американцами возвратилась в Москву, Вайнштейн спросил: «Давид, почему вы не остались в Америке?» Бронштейн опешил: «А как же вы? Вы все тут?..»

«Ничего, как-нибудь выкрутились бы», – хладнокровно заметил Вайнштейн. Вспоминая об этом сорок лет спустя, Давид Ионович полагает, что вопрос его покровителя свидетельствовал о том, что только он знал, как несладко жилось Бронштейну в «тени Ботвинника».

Так ли? Мне кажется, что Вайнштейн имел в виду совсем другое: свободный мир, где Бронштейн мог бы проявить свои выдающиеся свободы без оглядки на кого-либо.

Он мог предвосхитить отчаянный прыжок на Запад Виктора Корчного, но не решился на столь резкий шаг, или

просто не задумался об этом. Трудно сказать, как сложилась бы в этом случае судьба невозвращенца: времена ведь были тогда пожестче тех, когда путь на Запад выбрал Виктор Корчной, а тому ведь тоже пришлось несладко. Очевидно одно: ему пришлось бы бороться с тайной и явной машиной давления на личность, вплоть до физического уничтожения; ведь КГБ никогда не был разборчив в средствах устранения неугодных персон.

Всё это, конечно, только догадки, но и вопрос Вайнштейна, и растерянная реакция Бронштейна говорят немало о манере мышления и формате личности обоих.

Вайнштейн ушел в экономику, стал кандидатом, потом доктором наук, заместителем директора института, членом научного совета Академии наук, написал несколько монографий.

Хотя он утверждал, что Берия не подпускал его к оперативным делам, знал Вайнштейн, разумеется, очень много, но продолжал хранить молчание и после Перестройки.

Когда Сергей Воронков, часто видевшийся с ним в те годы, спросил: «Борис Самойлович, сейчас ведь можно говорить абсолютно обо всем, да и организации той теперь не существует, почему бы вам не написать воспоминания?» — Вайнштейн отвечал, что бабушка еще надвое сказала, что он дал подписку в свое время.

Очень понятный феномен в Советском Союзе, да и в современной России. Это, конечно, корпоративное мышление. *Esprit de corps*. Кастовый дух.

В послевоенной Франции изобрели формулу «ответственен, но не виновен». Не знаю, вписался ли бы в эту формулу полковник министерства внутренних дел Борис Самойлович Вайнштейн, но в послеперестроечной России ему и в голову не приходило выказать что-нибудь, похожее на раскаяние или признание хотя бы моральной вины.

Осуждая массовые репрессии Сталина, он не отрицал пользы принудительного труда. Приводил исторические параллели, утверждая, что у каждой страны бывают перио-

МАТЧ НА ПЕРВЕНСТВО МИРА ПО ШАХМАТАМ

БЕЛЫЕ

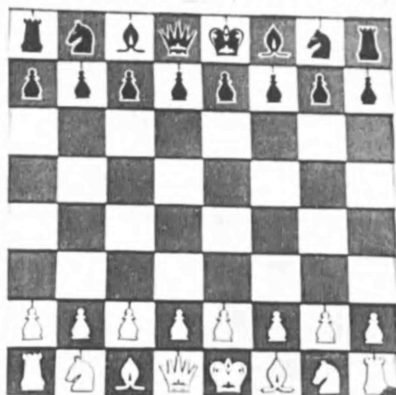
ХОД

ЧЕРНЫЕ

БОТВИННИК

1

БРОНШТЕИН

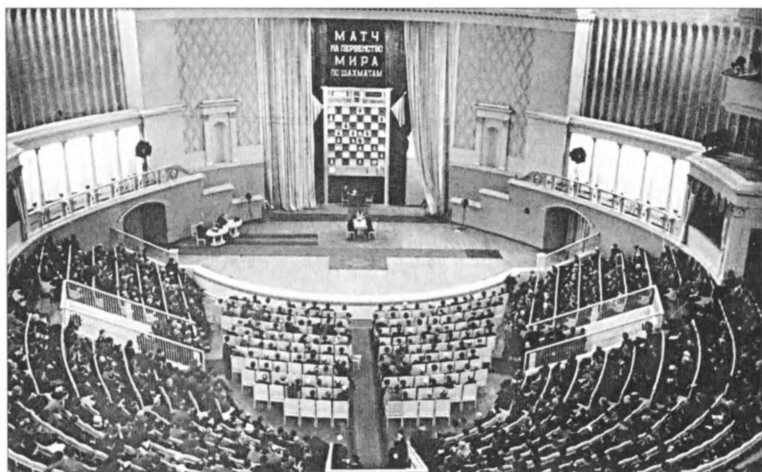




Друзьям детства Дэвику Бронштейну и Изе Болеславскому пришлось выяснять между собой – кто станет соперником чемпиона мира. Москва 1950.



«Сыграть матч на звание чемпиона мира – заветная мечта каждого шахматиста. Что касается меня, – говорил Бронштейн, – то мечтаю об этом с того самого дня, как впервые пришел в Киевский Дом пионеров и доказал строгому экзаменатору Александру Марковичу Константинопольскому, что умею провести пешку в ферзи».



Концертный зал им. Чайковского, где игрался матч на первенство мира, всегда был переполнен. Москва 1951 год.



«Коллега-чемпион», – обратился к нему Макс Эйве в телеграмме после московского матча 1951 года, и таким видел сам Бронштейн свое место в шахматной истории.



Александр Маркович Константинопольский стал первым тренером Дэвика в киевском Доме пионеров. Он же был секундантом Бронштейна в матче на первенство мира с Ботвинником.



Известный ленинградский теоретик Семен Абрамович Фурман входил в тренерскую бригаду Бронштейна на матче за мировое первенство. Семен Фурман, Александр Котов, Давид Бронштейн.



Несмотря на выдающийся талант Бронштейна, его звезда могла и не взойти, если бы он не приобрел могущественного покровителя: Борис Самойлович Вайнштейн, полковник НКВД, возглавлял всесоюзную шахматную секцию.



Давид Бронштейн наблюдает за партией отца с Борисом Самойловичем Вайнштейном.



Киевляне: семикратный чемпион мира по столеточным шахам Исер Куперман и Давид Бронштейн. Справа – Абрам Хасин.



Давид Бронштейн довольно сильно играл в русские и столеточные шахи. Слева – международный мастер Абрам Иосифович Хасин, помнящий еще щуплого киевского подростка по прозвищу Малец.



Большинство партий Бронштейна с гроссмейстером и писателем Александром Александровичем Котовым протекали кровопролитно.



Юрий Львович Авербах, познакомившийся с Бронштейном семьдесят лет назад, утверждает, что за свою долгую профессиональную карьеру не видел никого, кто играл бы молниеносные партии так, как играл Давид Бронштейн в те годы.



С Паулем Кересом у Бронштейна были особо доверительные отношения. За анализом наблюдает международный мастер Георгий Борисенко.



Бронштейн перенес идеи выдающихся мастеров прошлого в шахматы сороковых годов XX века и, подняв их на новый уровень, создал почву для появления другого гения – Михаила Талья.

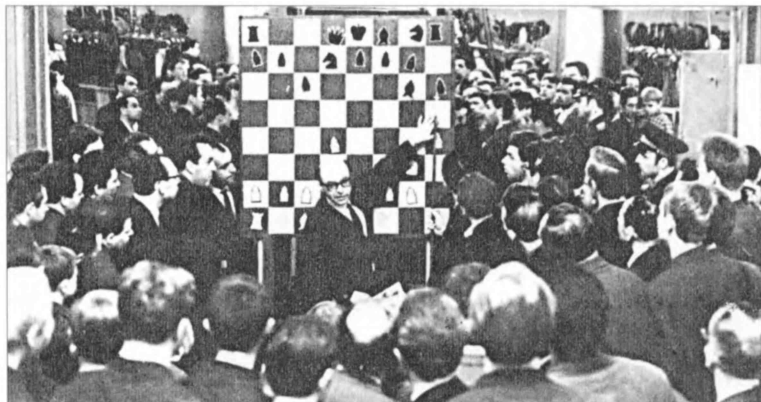


Чемпионы и претенденты: Лев Полугаевский, Михаил Таль, Василий Смыслов, Давид Бронштейн.

На этот раз дебют разыгран быстро. В практике Бронштейна случались партии, в которых, пытаясь найти разгадку начальной позиции, он задумывался над первым ходом минут на сорок.



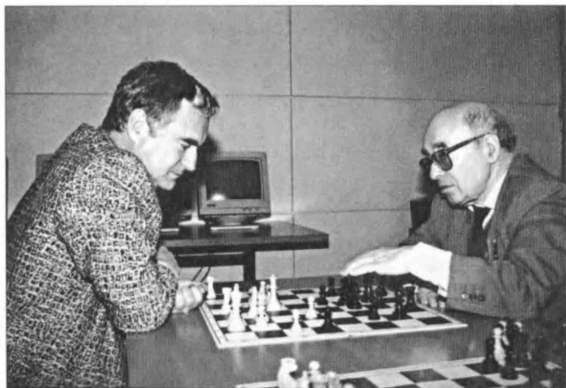
Несколько раз в наших разговорах Бронштейн озвучивал мысль, что с его талантом он должен был, как Фишер, родиться в Америке. Первая встреча с будущим чемпионом мира. Межзональный турнир, Порторож 1958.



Лучшие всего Бронштейн чувствовал себя среди любителей игры, жадно внимавших каждому слову маэстро.



Бронштейн-«демонстратор». В докомпьютерное время именно так на крупных турнирах демонстрировались шахматные партии.



Россыть блистательных идей. Автор за анализом с Давидом Бронштейном. Тилбург 1997. Пресс-центр турнира «Интерполис».



«Вот Каспаров как-то сказал, что его со мной разделили поколения и поэтому со мной он не играл. О чем это он? Какие поколения? Я еще жив и понимаю толк в игре».

Справа налево: Давид Бронштейн, Юрий Дыхян, Гарри Каспаров.



Сказал однажды: «А Крамник что? Вот он говорил мне – “вам проще было, вы могли много больше себе позволить, вы играли без нюансов. Теперь же идет очень жесткая игра, ход в ход”. Нашел кому говорить о нюансах!»



«Я и фамилии своей слышать не могу, на иностранных языках она хоть как-то по-другому произносится, там хоть – куда ни шло».



С голландцем Тамом Фюрстенбергом – близким другом и соавтором.



Вместе с автором книги у дверей Клуба на Гоголевском бульваре. Москва, сентябрь 2001 года.



Одна из последних фотографий Бронштейна. Приход знаменитого маэстро в минский клуб «Веснянка».

«Перед ним были те же шахматы, те же фигурки, что и семьдесят лет назад, когда он в первый раз пришел в киевский Дом пионеров. Та же игра, принесящая ему столько радости и столько печали».

ды, когда во имя интересов общества попирались права отдельной личности.

Возмущаясь экономическими реалиями России начала 90-х годов, для выхода из экономического кризиса предлагал существенно повысить жесткость системы и степень принудительности труда.

Настаивал: «Тот, кто в экономике действует милосердно, преступник, которого надо расстрелять». Называл Берию не только способным организатором, но и человеком, мыслившим другими категориями, обладавшим государственным умом.

Качество, которое многие видели и в нем самом: Борис Самойлович Вайнштейн привык оперировать экономической целесообразностью, проектами и цифрами, не видя за ними живых людей, исковерканных жизнью, страданий, смерти.

На Вайнштейна обрушились как на восхвалителя палача и рабского труда: слушать статистические и экономические выкладки ни у кого не было ни времени, ни желания. Но характерен и факт: Вайнштейн не побоялся поделиться своими соображениями в то время, когда упоминание имени Берии даже в нейтральном смысле вызывало резкую отповедь.

Он был женат первым браком на дирижере Веронике Дударовой (1916–2009), дожившей до преклонного возраста. Говорил в шутку о сыне: «Ну какие дети могут родиться от брака еврея и осетинки!..»

Этот брак распался, он женился во второй раз, новая жена была моложе его на четверть века. Борис Самойлович Вайнштейн умер в 1993 году, ему было 86 лет. На похоронах старый профессор, хорошо знавший его, сказал: «Живи Борис Самойлович в другой стране, он мог бы стать руководителем государства».

Фактически всю свою жизнь он прожил при советской власти и не просто сказать, кем мог бы стать человек его формата и способностей, родись он в Вене, Лондоне или Нью-Йорке.

В чем-то судьба Вайнштейна схожа с судьбой много лет стоявшего во главе шахмат в Советском Союзе Виктора Батурина. Оба евреи, оба родом из Одессы, всю сознательную жизнь они прожили в Москве.

Оба – полковники МВД, у которых навсегда сохранилось мышление, сформированное долгой службой в организации, стоявшей вне и выше законов.

Безоговорочно приняв условия игры, преданные защитники власти, они исполняли роль ученых евреев при губернаторе. Но если Батуринский прямо говорил об этом, Вайнштейн, очевидно, претендовал на большее. Оба достигли преклонного возраста и явились свидетелями развала государства, которому преданно служили всю жизнь.

У Бориса Самойловича Вайнштейна было много увлечений, но шахматы всегда оставались главной страстью. Любил переигрывать партии старых мастеров, анализировать, размышлять. Блицу предпочитал легкие партии, во время которых нередко обменивался с соперником мнениями, подбадривал его, а то и давал советы.

То же самое делал впоследствии и Давид Бронштейн. Правда, он был лишен возможности поговорить с партнером во время турнирной партии, зато компенсировал это после игры.

Душу Бронштейн отводил перед сеансами одновременной игры. Мог долго излагать, какой тактики будет придерживаться, объяснял, что необходимо следить за его приближающимися к королю фигурами, рекомендовал в трудных ситуациях спросить совет у него самого.

Сея у участников сеанса, без сомнения, еще больший страх перед гроссмейстером, чем если бы не предварял игровой процесс доброжелательным, как ему казалось, напутствием.

Еще в тридцатых годах Борис Самойлович Вайнштейн начал регулярно писать на шахматные темы под псевдонимом Ферзьбери. Нельзя сказать, что заметки эти были чем-то из ряда вон выходящим, но на фоне однообразной

советской жвачки статьи Ферзьбери выделялись стилем и мыслями, отличными от общепринятых.

Немало писал Вайнштейн и под собственным именем. Понятно, что место его работы открывало ему двери любого издательства. Перу Вайнштейна принадлежат книги «Меранская система в историческом развитии», «Комбинации и ловушки в дебюте», «Шахматы сражаются», «Мыслитель» – о Ласкере, «Импровизация в шахматном искусстве» – о Бронштейне.

Но лучшая его работа – знаменитая книга «Международный турнир гроссмейстеров», где, по признанию Бронштейна, Борис Самойлович написал всю литературную часть.

Анализами партий занимались Константинопольский и Фурман, но главным аналитиком был, конечно, сам Бронштейн, чье имя и стоит на обложке. Сама идея написания книги, до сих пор являющейся для многих одной из самых любимых, тоже принадлежала Вайнштейну.

Бронштейн предложил выпустить книгу под двумя именами, но Вайнштейн отказался. Это не значит, что Борис Самойлович не был честолюбивым, даже тщеславным человеком.

Юрий Авербах вспоминает, что «личностью Вайнштейн был не заурядной, скорее чем незаурядной. Книги, написанные им, неплохие, но во всех красной нитью проходит мысль: мы – умы, а вы – увы...» Действительно, почти на каждой странице книг Вайнштейна прочитывается мысль: я хоть и не гроссмейстер и даже не мастер, но тоже не лыком шит, а кое-каких гроссмейстеров и посильнее буду, а по пониманию игры – уж точно.

Этот создаваемый им образ вроде подтверждался и фактами: у кого-то на турнире претендентов секундант – гроссмейстер Бондаревский, у другого – гроссмейстер Авербах, у третьего – Симагин, у четвертого – Сокольский, а у Бронштейна какой-то загадочный Вайнштейн, вроде даже и не кандидат в мастера, но игру понимает так, что гроссмейстеры к его мнению прислушиваются.

После импровизированного опроса участников претендентского турнира 1950 года Вайнштейн был признан лучшим секундантом. Объяснение дал остроумный Найдорф: «Борис – единственный из секундантов, кто не воображает, что играет лучше своего подопечного». Даже если это было так, то не без оговорок. «Работа Бронштейна – ночью спать, утром гулять, а днем получать за доской выигрышные позиции. А моя работа – найти, как выиграть выигрышную позицию» – заявил без тени смущения Вайнштейн послу Советского Союза в Венгрии, прибывшему на один из туров.

Писал: «Что касается меня, то я как практический игрок не бог весть как силен и знаю об этом. Но в анализах и в дебютах кое-что соображаю, и Бронштейн знает об этом».

Юрий Авербах помогал на том турнире Лилиенталю. «Андре Арнольдович, – вспоминает Авербах, – выступал в турнире довольно бледно, и особых обязанностей у меня не было. Когда Бронштейн отложил партию с Найдорфом, Вайнштейн попросил меня проанализировать отложенную позицию. Результаты работы я представил ему в письменном виде, а в книге Вайнштейна весь анализ потом фигурировал как результат аналитических способностей самого Бориса Самойловича...»

Вайнштейн очень переживал, что игра превращается в соревнование на память. Вспоминая Эйнштейна, считавшего, что шахматы являются насилием одного интеллекта над другим, Вайнштейн говорил, что шахматы способствуют проявлению отрицательных черт характера, в первую очередь эгоцентризма.

Такой же точки зрения придерживался впоследствии и Давид Бронштейн, отдавая предпочтение божественной импровизации и ратуя за снижение, а то и вообще отмену спортивной составляющей шахмат: «Это было время, когда шахматы еще не превратились окончательно в спорт, поэтому в грамоте, которую мне вручили за дележ первого места, я назван “участником турнира ветеранов шахматного искус-

ства"», – жирным шрифтом подчеркивая так нравящееся ему определение игры.

Он вытачал для себя не только одежды романтика, играющего на красоту, а не на жалкое очко в турнирной таблице, но и облачился в рубище мученика и страдальца, в котором пребывал, независимо от политической погоды на дворе.

«Нет сомнения, что в ХХІ веке, а быть может, и раньше предстоит возрождение культа красоты в шахматах, что они будут с каждым годом приобретать человеческие, добрые черты, отбрасывая всё наносное, конъюнктурное, эгоистичное, всё, чуждое идеалам гуманизма...» – писал Вайнштейн в 1984 году с характерным пафосом.

Сравнивая с покером, пел гимн шахматам, полагая, что именно шахматам принадлежит будущее. Не будем сравнивать популярность шахмат и покера сегодня и давать оценки следующим утверждениям Вайнштейна.

«Быть может, шахматы в прошлом были игрой, но современные шахматы в своем развитии всё в большей мере приобретают черты подлинного искусства».

«Подлинные любители шахмат, а их уже миллионы против немногих, хотя и влиятельных апологетов Его Величества Очка, всегда будут превыше всего ценить гроссмейстеров за раскрытую красоту в шахматах, воплощенную в комбинации».

Вайнштейн обрушивается на академические словари, называющие шахматы игрой. Резко критикует и словарь русского языка, дающий шахматам определение «игры на доске, разделенной на 64 светлые и темные клетки, между 16 белыми и 16 черными фигурами по установленным для них правилам передвижения».

Приводит в пример Бронштейна, называющего шахматы «не доской, фигурами и клетками, а отраслью культуры, которая по содержанию представляет собой искусство, а по форме – способы общения между собой коллективов и личностей».

Сравнивает Бронштейна с «новатором форм стихосложения Хлебниковым», а о крайне запутанном и неподъемном для начинающего «Самоучителе шахматной игры» пишет, что автор объяснил нам, что «конфликт в шахматной борьбе лежит не в отношении фигур, а в отношениях партнеров. Силовые линии, экватор – всё это было так ново, привлекательно и вместе с тем понятно...»

«Шахматный мир жив теми бесчисленными любителями, для которых шахматы – форма межчеловеческого общения. То есть средство самовыражения и эстетического восприятия в справедливом интеллектуальном соревновании с друзьями».

Подобные фразы могли быть сказаны (и говорились впоследствии не раз!) Давидом Бронштейном.

Вайнштейн предсказывал: «приходят новые времена, появились новые шахматные кумиры – ну что ж, сочтемся славою... Но импровизационное творчество Бронштейна ценят и всегда будут ценить любители шахмат за его оптимизм и здравый смысл, за стремление к гармоничному и справедливому разрешению возникающих на доске конфликтов...»

Философствовал: «эстетическое воздействие этого искусства на человека и его самовыражение в творчестве есть результат самостоятельного поиска и открытия неожиданных и эффективных связей между этими понятиями, воплощенными в шахматной комбинации»

Не жалел красок: «На каждом шагу шахматисту становятся доступны радости Колумба и Магеллана», «шахматы Давида Бронштейна, яркого представителя импровизационного жанра, – это не передвижение черных и белых фигур на плоской темно-светлой доске, это – красочное творчество в многомерном пространстве идей, в диапазоне от бетховенских страстей до мягкой улыбки Алеши Карамазова».

Комментировать эти пассажи трудно. Высокопарную бессмыслицу, наполненную патетикой и пафосом с претензией на оригинальность, советские читатели, вкус которых

был атрофирован официальной жвачкой, пробежали глазами, не вдумываясь в смысл.

Ту же манеру изложения перенял Давид Бронштейн: «Хочется надеяться, что шахматы в третьем тысячелетии войдут в арсенал жизненных потребностей человека, наряду с чтением классических стихов и наслаждением музыкой...»

«Шахматное искусство еще не заняло своего места в ряду других искусств. Это легко ощутить, но нелегко объяснить».

«В храм шахматного искусства люди приходят с единственной целью – насладиться красотой комбинаций».

«В турнире претендентов на матч с М.Ботвинником в 1956 году в Амстердаме из-за заносчивого хода ♖f6-d7 мне пришлось весь вечер отражать медлительные, но тем еще более чувствительные атаки Т.Петросяна. Себя хвалить не положено, но автор должен быть объективным – защищался черный король более чем героически. Воспользовавшись тем, что Т.Петросян рано обменял чернополевых слонов, черный король облюбовал для себя тихую пристань на поле h8, а остальным фигурам приказал занять круговую оборону.

И фигуры так хорошо выполнили приказание, что уже не было никакой возможности расположить их лучше. А ходить-то надо обязательно! Тогда, обзрев обстановку, король выбрал из фигур самого молодого и крепкого – коня – и велел ему гарцевать вокруг королевской пешки, ни на что, никуда, ни под каким предлогом не отвлекаясь. Так игра и тянулась.

Т.Петросян маневрировал ладьями по первой горизонтали, запугивая черных угрозой вторжения, но эффекта достичь не смог. И не удивительно – черная армия исчерпала все резервы подвижности, заняла оборону, прижавшись к отвесным скальным громадам, вроде тех, что вдоль знаменитой Военно-Грузинской дороги по пути из Орджоникидзе в Тбилиси.

Бойтся шахматист, когда думает, что позицию своим ходом можно ухудшить. А тут такая редкостная ситуация, что по мне так не ходил бы и вовсе. Смотрел бы ленивым взгля-

дом и ждал из праздного любопытства, через какую горную расщелину упадет на меня тот камень или где найдут точку прорыва белые ладьи. Видимо мое настроение передалось и Петросяну. Стал он думать более обычного, а мне и думать-то некогда – осталось секунд 30 на 10 ходов.

Вдруг надоело моему противнику ходить ладьями – быстро сыграл ферзем. Сперва я даже не отреагировал, но, увидав что-то новое внутри лагеря черных, решил этого пришельца изгнать конем. Т.Петросян не принял во внимание вихревой “полет шмеля”, исполненный без злого умысла черным конем, и, не тратя ни минуты, ответил заготовленным ходом – сыграл конем с e4 на g5.

Мне стало не по себе. До этого я был спокоен, игра объективно проиграна, важно только не просрочить время. А здесь что делать? У меня не было иного выхода, как играть конем. По приказу короля – не забыли? – этот конь один должен был вращаться вокруг своей оси, словно метатель легкоатлетического диска перед дальним броском, но в таких чрезвычайных обстоятельствах, как цейтнот, взял я ферзя с такой же решимостью, с какой Петросян тут же остановил часы».

Сверхдлинная цитата взята из книги Бронштейна «Самоучитель шахматной игры»(!). Отметим, что Давид Ионович Бронштейн мог быть и предельно лаконичным, давая советы действительно очень полезные для молодого шахматиста.

Однажды, получив стратегически проигранное положение, он упорно защищался и спасся, объяснив: «я старался не ухудшить позицию и, что еще больше важно, не пытался ее улучшить».

Меткое замечание, которое было бы весьма к месту, вместо наполненного пафосом рассказа о заурядном зевке ферзя Тиграном Петросяном.

«Можно сожалеть, что первый чемпион мира Вильгельм Стейниц назвал себя чемпионом мира и не догадался назваться лауреатом. Может быть тогда в шахматах больше

бы ценились красота решений, риск, фантазия, дерзость, не было бы всех этих утомительных многодневных матчей, где важно сберечь силы и выждать ошибки противника и где тот, кто рискнет первым, проиграет, не было бы незрелищных, просто неинтересных партий».

«Чемпион мира в шахматах мне вообще представляется атавизмом. В искусстве не может быть чемпионов!»

«Спортивный отбор, который должен воплощать принципы высшей справедливости, в современных шахматах жесток и поэтому несправедлив. Разве не жесток проигрыш партии из-за одной ошибки после четырех с половиной часов напряженного труда?»

«Мой первый совет – не надо доводить игру до результата. Пусть ребята сделают по 12-13 ходов и бегут играть в футбол. Второй совет: нехорошо, чтобы ребенок приходил домой с нулем. Это – нехорошо, бесчеловечно».

Этими и подобными высказываниями наполнены книги и интервью Давида Бронштейна. Отбросив спортивный элемент игры, он предлагал придать шахматам смысл, вкладывавшейся в понятие спорта в XIX веке: «sport – английское слово, пришедшее из старофранцузского, desport – удовольствие, развлечение...»

Макс Эйве очень удивился, услышав от Бронштейна, что в будущем игра в шахматы с целью завоевать очко будет вообще отброшена, что будут играть исключительно, чтобы доставлять интеллектуальное наслаждение зрителям.

Американский «Чесс Лайф» писал тогда: «одной из отправных точек философии Бронштейна является мысль, что в шахматы надо играть для **развлечения** и не друг **против** друга, а друг **с** другом. Целью игры должно быть именно развлечение, а не результат: необычная точка зрения для гроссмейстера!»

Спор о том, в какую категорию занести шахматы, начался задолго до Бронштейна. Эмануил Ласкер, не отрицая эстетического, творческого элемента в игре, настаивал, что шахматы прежде всего борьба, и не играет роли, какое опре-

деление им дается – речь идет о том, чтобы выиграть партию: «Идея старой шахматной игры, идея, которая дала ей силу просуществовать тысячелетия – это идея борьбы».

Того же мнения придерживался и Рихард Рети: «Шахматы – это область, где критика не имеет такого большого влияния, как в искусстве: в шахматах результат партии является доминирующим, решающим и бесповоротным».

В статье «Искусство ли шахматы» (1960) Ботвинник, признавая – «искусствовед из меня посредственный», – писал: «шахматы всегда бывают игрой и лишь изредка полноценным искусством – слишком редко удается создать партию, подлинно ценную в художественном отношении. (...) Не следует ли сказать, что шахматы являются искусством, но проявляется оно всегда в форме игры, борьбы сторон?»

В жизни далеко не всегда нужно выигрывать. В спорте – необходимо, иначе теряется смысл игры. С духом игры несовместима философия: лучше сыграть красиво и проиграть, чем выиграть при плохой игре. Сила шахматиста оценивается не по шкале красоты, а по турнирным достижениям, а постаревший Бронштейн, лукавя или сознательно обманывая самого себя, не мог или не хотел принять этого.

Пытаясь обосновать примат искусства в шахматах и ратуя за игровой процесс с целью получения удовольствия, он писал: «Все знают крылатую фразу Пьера де Кубертена: “Важна не победа, а участие”. Наблюдая за борьбой на Олимпийских играх, мы аплодируем всем участникам, а не только олимпийским чемпионам».

Часто цитируемая формула «участие важнее, чем победа», действительно придуманная бароном Кубертенем, привела бы древних греков в состояние гомерического хохота. Это самый не греческий лозунг, какой только можно вообразить. Если когда-нибудь существовало общество соревновательное, это было общество древних греков.

Ахилл, Агамемнон и другие благородные бойцы в сказаниях Гомера открыто выражали желание «всегда быть первыми и превзойти других».

Соревновательный элемент был распространен в Древней Греции повсеместно у певцов и драматургов в не меньшей степени, чем у борцов и бегунов. Греки придерживались концепции Адониса, базирующейся на том, что человек может развить свои врожденные способности только в соревновании, и с подозрением относились к мотивам каждого, утверждавшего, что он альтруист.

«Очевидно, что честолюбие и соперничество – средство приобретения добродетели, – утверждал Плутарх. – Взаимное послушание и благожелательность, достигнутые без предварительной борьбы, есть проявление бездеятельности и робости и несправедливо носит имя единомыслия».

Честолюбие ценилось крайне высоко как в общественной, так и в частной жизни, и греческое, а потом и древнеримское общество было пропитано духом соперничества. На Олимпийских играх признавалась только победа. Ни третьи, ни вторые места не заслуживали даже упоминания, причем не играло никакой роли, досталась победа с огромным преимуществом или с минимальным, улыбнулось ли победителю счастье, или сопернику просто не повезло.

Никакие рекорды не учитывались, в греческом языке не было даже такого понятия – установить или побить рекорд. Участие в Олимпиаде совершенно не ставилось в заслугу. Победа приносила славу, поражение означало позор и срам.

Черные дни романтиков в шахматах начались не сегодня, и даже не во времена Бронштейна. Даже когда романтизм преобладал над спортивным успехом, решающую роль играл результат партии.

Неправда, что в прошлом или позапрошлом веке ценилась лишь красивая комбинация. Все комбинации, все фейерверки жертв и порывы вдохновения всегда были подчинены главному: победе.

«Трагиками шахмат» называл Алехин шахматистов, лишенных спортивных качеств.

Победа в партии, победа в турнире – вот зеркало таланта в шахматах, и единственная верная стратегия здесь – по-

беждать. Жалобами на обстоятельства, объяснениями, что в шахматах у тебя другая цель, другая система ценностей, ничего никому не докажешь.

К тому же эстетические оценки всё время претерпевают изменения. Если раньше эффектные комбинации с многочисленными жертвами считались эталоном красоты, сегодня публика восхищается тонкими маневрами в эндшпиле Магнуса Карлсена, изыскивающего новые пути в позициях, где раньше давно прекратили бы борьбу.

Процесс этот совпал с бурным развитием науки, развенчавшей романтические представления и давшей конкретные объяснения многим «лирическим» явлениям жизни. Следует ли говорить, что в шахматах с появлением компьютера этот процесс оказался еще более интенсивным и полностью изменил подход к игре.

Еще совсем недавно считавшийся обязательным призом «за красоту» в современных турнирах изжил себя. Дискуссии и скандалы, разразившиеся в начале XXI века после присуждения таких призов, памятны всем. Гроссмейстеры, имеющие собственные представления о красоте, были крайне недовольны решениями жюри и объявляли членов жюри попросту недостаточно компетентными.

Но дело даже не в этом: появился Безжалостный Судья, мнение которого спешат узнать все, едва закончив партию. Машина указывает на любые ошибки и просчеты, раньше остававшиеся за кадром.

Шахматы играют неизмеримо меньшую роль в человеческой жизни чем литература, театр, музыка, но выгодно отличаются от искусства именно объективными критериями, не позволяющими создавать дутых авторитетов и ложных кумиров.

Музыкальные конкурсы, премии и призы, учреждаемые в литературе, кинематографии, телевидении, несут в себе соревновательный элемент, заимствованный из спорта и привнесенный в иные сферы.

Но критерий оценки в них базируется на очень зыбком фундаменте личного вкуса, зависит от умелой «раскрутки»,

пристрастия критиков и множества других факторов. Поэтому результаты таких конкурсов не могут быть бесспорными: все знают, что даже Нобелевские премии по литературе, зачастую, несут в себе политический подтекст, а подмостки концертных залов мира сплошь и рядом завоевываются не только благодаря профессиональным качествам исполнителей.

На шахматы это не распространяется именно из-за спортивной составляющей игры: результат партии говорит сам за себя. Гроссмейстер оригинального стиля, красиво играющий, всегда будет любим публикой, но победителем станет тот, у кого больше очков в турнирной таблице.

К тому же шахматы относятся к тем видам спорта, где судьи следят только за выполнением правил игры, а не оценивают артистичность исполнения, степень соответствия идеалу или тому, что они лично понимают под идеалом. К счастью! К чему может привести оценка выступления спортсмена судьями мы знаем из опыта соревнований по гимнастике и фигурному катанию.

Только соревновательный, спортивный элемент позволяет шахматам сохранять популярность в XXI веке. Спортивный элемент, так не нравившийся Бронштейну, при каждом удобном случае цитировавшему иранского шаха, отказавшегося посетить традиционные скачки в Лондоне: «я и так знал, что одна лошадь бежит быстрее другой».

Победа заложена в самом концепте спортивного состязания, и в шахматах, если тебе сопутствует успех, ты прав, даже если ты не прав. Факт, с которым не хотел или не мог смириться Давид Бронштейн.

В комментариях к одной из своих партий Бронштейн писал: «если бы не врожденная скромность, я мог бы себя похвалить: чистая работа, легкий рисунок, высокая техника». На самом деле, его скромность была замаскированной, но легко обнаруживаемой гордыней. Элемент самолю-

бования, драпирующийся под скромность, очень хорошо вписывался в культивируемый им образ непризнанного гения.

Это было одной из форм позиционирования себя в условиях советского режима. Внешнее дистанцирование от славы, успеха как синонима суетности, попытка противопоставить общепринятое мнение суждению другой группы, пусть и значительно меньшей числом – «истинных ценителей», «настоящих любителей».

Такая игра на понижение оборачивается игрой на повышение: в первую очередь у приближенных, смотрящих в рот гуру и безоговорочно принимающих абсолютно всё, что он изречет.

Во время первого поединка Карпова с Каспаровым Бронштейн изредка заходил на матч, где подчеркнуто скромно стоял в очереди за билетом. Но чаще бывал в Измайловском парке, где, играя партию с каким-нибудь любителем, излагал свою очередную теорию. Там, на скамейке парка в окружении почитателей, он чувствовал себя много комфортнее чем на матче за мировое первенство.

Делакруа писал о своем лучшем друге Шопене, что Фредерик – гениальный композитор, но в смысле общей культуры совершеннейший варвар, ничего не понимает в искусстве, не любит картин и его, Делакруа, картин в том числе. По-настоящему, он не любит литературу, даже книг Жорж Санд, своей подруги, он не читал. Добавляя, что, если уж быть честным до конца, ему кажется, что и музыку он не очень-то любит, а единственное, что он любит – это сидеть вечером в гостиной за роялем в окружении красивых дам, смотрящих на него влюбленными глазами, и слушать их аплодисменты. Когда я прочел эту шутку (шутку?) французского художника, мне почему-то вспомнился Давид Бронштейн последнего периода его жизни.

В Москве во время турнира Аэрофлота, когда мы стояли в сторонке и разговаривали, к нам подошел среднего возраста человек и робко попросил автограф. Наотрез отказался: «Я автографов не даю. Я сам здесь зритель, я просто турист,

поймите, я – никто здесь, никто...», – начал темпераментно объяснять Бронштейн вконец смутившемуся почитателю. Так и не дал автографа.

Несколько раз в наших разговорах Бронштейн озвучивал мысль, что с его талантом он должен был, как Фишер, родиться в Америке.

Изменило ли бы это что-нибудь в его судьбе? Возможно. Жизнь вынудила бы его убедиться, что единственным мерилом в шахматах является не философствование о прошлом и будущем игры, а победы в турнирах. Может быть тогда, вынужденный спуститься на землю и сохранив лучшие качества своего незаурядного дарования, он и стал бы чемпионом мира.

Между доспехами и успехами Бронштейн, как и Дон Кихот, выбрал доспехи. Но не выбрал ли он доспехи, когда не мог уже добиваться успехов?

Он не был единственным, кто с возрастом стал отказываться от приоритета результата в игре. Постаревший Нимцович говорил: «Нигде погоня за успехом не выявляется так явно, как среди шахматистов. Я презираю эту погоню в высшей степени и мог бы не без некоторой доли юмора сказать: чтобы найти подходящую мишень для антипатии к человечеству, которая копилась у меня годами, я играю в шахматы и стал шахматным мастером.

Говоря же серьезно: погоню за успехом я действительно презираю, даже если погоня за результатом стоит во главе угла в шахматном мире. Наблюдение за этой жалкой погоней подтверждает правильность моего пессимистического мировоззрения, и сознание этого доставляет мне огромное удовольствие».

Бронштейн ратовал за гроссмейстерские турниры, где участники по ходу игры комментируют свои замыслы. «Если бы лучшие шахматисты мира вели борьбу с микрофоном в руке, все бы увидели, как красиво они думают. Однако ФИДЕ не догадывается, что, организовав турниры говорящих гроссмейстеров, федерации соберут миллионную благодарную аудиторию. В шахматных театрах можно будет

давать представления на любые темы и показывать творческие портреты шахматистов.

За двести лет накоплено столько шахматного материала, что опытный режиссер в содружестве с композитором может хоть тысячу лет создавать шахматные концерты, – утверждал Бронштейн. – Шахматные театры будут приглашать для гастролей гроссмейстеров суперкласса. Они будут вызывать восхищение, но не будут испытывать отрицательных эмоций – их труд будет уважаем сам по себе, а не в зависимости от результата игры.

Они будут так же приветствоваться залом, как сегодня солист и оркестр, а не как победитель и побежденный. Они будут играть только для общего удовольствия в атмосфере подсказок и обмена шутками».

Этот сценарий изготовлен Бронштейном для очевидного исполнителя: самого себя. Правда, написан он был уже после того, как сам сценарист оказался не в состоянии играть заглавные роли.

Интернетные шахматные клубы уже проводят показательные партии гроссмейстеров, за которыми любители следят, не выходя из дома. Но внимают они комментариям знатоков в первую очередь для того, чтобы научившись у гроссмейстеров приемам игры, использовать их в единоборстве за шахматной доской.

На собственном многолетнем опыте комментатора я убедился, что публика, всегда обожающая послушать последние новости и сплетни шахматного и околошахматного мира, более всего предпочитает анализ играющихся партий. Предлагая собственные ходы и варианты, зритель хочет доказать, что ЕГО ход лучше предложенного гроссмейстером, комментирующим партию или играющим ее.

В еще большей степени это относится к детям. Ребенка интересует исключительно спортивная сторона поединка: одолеть одноклассника, победить в первенстве школы, клуба, города, страны, континента. Превзойти другого, играть лучше него. Лучше всех!

Даже самые маленькие обладают собственным «я» – горящие глаза и детские ручонки, охватывающие завоеванные фигуры, говорят за себя: Я победил! Я! Помимо биологически заложенного в нас инстинкта, это свойство стимулировано сегодня целиком построенном на успехе обществе.

Бронштейн считал соперника соавтором в создании шедевров шахматного искусства. О партии с Кересом в кандидатском турнире 1953 года он писал: «получилась оригинальная партия, она понравилась нам обоим», объясняя что «да, так оно и было: Пауль Петрович любил шахматы как искусство и всегда проявлял исключительную объективность в оценке игры».

Не будем спорить с последней частью этой характеристики, но речь идет о партии, где Керес неудачно разыграл дебют, неосторожно вскрыв позицию на девятом ходу, десять ходов спустя остался без качества, и, несмотря на слабую технику реализации Бронштейна, вынужден был сдаться на 58-м ходу. Можно себе представить, как радовался после этой партии эстонский гроссмейстер!

Бронштейн видел шахматный поединок примерно так. «Вы звоните приятелю, приглашаете придти поиграть в шахматы. Всё начинается очень дружески. Но как только фигуры завязывают бой, у вас возникает желание выиграть! Вот в чем правда. Вы начинаете нервничать – почему я не выигрываю. И часто происходит цепная реакция. Партнер тоже начинает злиться, и вместо удовольствия от хорошо проведенного вечера у обоих остается на душе горький осадок. А жаль! Ведь на самом деле игра гораздо важнее результата».

Действительно важнее? И так было всегда? В киевском Доме пионеров, когда двенадцатилетний мальчик после партии с Константинопольским мечтал о победе над Ласкером? В его первом чемпионате страны 1944 года? На межзональном турнире Сальтшёбадене? Турнире претендентском – в Будапеште? В матче на мировое первенство с Ботвинником?

Нет, не могу согласиться. Против этого вопиют множество партий, сыгранных жестким и бескомпромиссным бойцом Давидом Бронштейном.

«Понятно, что при таком подходе к игре им не до дружеских улыбок. Но это уже не шахматы. Это большой спорт, точнее даже бизнес, где нет места ни благородству, ни сочувствию, ни жалости. Это напоминает мне теннис, где, как утверждают специалисты, трудно достичь вершин, не обладая “инстинктом убийцы”. Но я верю, что это явление в шахматах временное. Вырастет новое поколение, которое вернет королевской игре красоту и благородство».

«Я говорю всё время о дружеских поединках. Не случайно. Сейчас с болью видишь, что молодые игроки полностью извратили идею шахмат. Они считают, что окружены врагами.

В наше время “враги” были только на шахматной доске, а на уровне глаз царило взаимное уважение, понимание, люди улыбались друг другу. А сейчас... на уровне глаз идет настоящая война: нынешние звезды в упор смотрят друг на друга, ведя ожесточенную психологическую дуэль “на поражение”», – говорил Бронштейн, приходя одно время на игру в темных очках.

Идеализация прошлого, увы, свойственна старикам, с удовольствием прибегающим к определению «в наше время». Совсем не обязательно метать в соперника ненавидящие взгляды, но разве улыбаются друг другу участники турниров и матчей в начале XXI века?

Бронштейн порицал Роберта Бирна, полагавшего, что «шахматы – спорт, подобный баскетболу или теннису. Вы бросаете мяч, пока не выиграете очко. Вы двигаете фигуры, пока не найдете слабое место».

Бронштейну нравилось, когда его называли последним романтиком. Он утверждал, что всегда играл, ставя эстетическое удовольствие во главу угла, только волей-неволей подчиняясь основной цели игры – результату. В статье под названием «Учусь играть как все...» утверждал, что в фи-

нале первенства страны в 1944 году играл очень хорошо, выиграв несколько красивых партий, но занял пятнадцатое место.

Поэтому годом позже «играл на очки», и такая тактику не замедлила сказаться: он занял третье место. На самом деле, Бронштейн, неустанно работая над шахматами, просто резко усилился за этот год, стал более уравновешенным, набрался опыта, повысил технику.

Поскольку человек всё больше и больше познает природу, для романтизма остается меньше места и романтическая игра в шахматах сегодня обречена на поражение.

Дух соревнования, соперничества пронизывает все виды человеческой деятельности. Состязание, единоборство, желание доказать, что ты лучше, сильнее привлекает миллионы любителей шахмат. Такова человеческая природа, и каждое новое поколение будет идти по этому пути.

Иногда, впрочем, Бронштейн и сам понимал, что его обвинения нелепы: «С сожалением или нет, но приходится констатировать, что спортивный элемент в современных шахматах “забирает” всё остальное, а ошибки гроссмейстеров надо объяснять природой работы мозга, а не наводить туман в духе “зевков столетия”».

Или – в другой раз, забывая всё, о чем говорил раньше, переворачивал свои соображения на 180 градусов и тогда неожиданно звучал очень ясный и убедительный голос: «Шахматистов спортивного направления в жизни не бывает, это всё выдумки, есть просто шахматисты – сильные, средние и слабые, есть знающие любители, но шахматистов спортивного направления нет. Нет и всё, это миф, туман, дым, мираж...»

Бронштейну не нравилось, что до истины стало возможно добраться при помощи машины, что память заняла место импровизации и того, что в старые времена звалось вдохновением.

«Изобретя компьютеры, смели с земли такую замечательную игру, как шахматы. Шахматы в кризисе потому, что они изучены. Исчезло ощущение тайны. Шахматы сегодняшнего дня не имеют ничего общего с теми шахматами, в которые играло мое поколение», – писал Бронштейн. Подобные мысли не новы. Их почти дословно высказывали Смыслов и Фишер, о кризисе шахмат писали Ласкер и Капабланка.

«...Современное развитие шахматной игры не благоприятствует вольному полету фантазии; оно не вознаграждает, а разочаровывает, так что в конце концов работа фантазии становится бесцельной. Разумеется, можно играть лучше противника, но этого еще недостаточно для выигрыша.

Логически исход партии часто бывает ничейным, несмотря на то, что один из противников переиграл другого. Достигнутое в игре преимущество часто слишком ничтожно и тонко и, брошенное на оценочную шкалу игры, просеивается, словно мелкий песок сквозь грубое решето. Причина зла не в какой-либо слабости современных маэстро, – скорее, напротив, в их силе, – и не в правилах старинных шахмат, но в радикальной реформе, внесенной в игру XVI столетием.

Благодаря введению рокировки атаки на короля стали крайне затруднительными; таким образом из шахматной комбинации исчезает важный, пожалуй даже наиболее характерный момент. Я видел, как шахматы всё более теряют прелесть игры и неизвестности, как их загадочность превращалась в определенность, как шахматы механизировались до степени объекта памяти; я сожалел о стремительности этого процесса, казавшегося мне ненужно быстрым. Я не шел по этому пути, хотя и видел, что он в конце концов неизбежен так же, как неизбежна смерть. Шахматы, в отличие от науки или искусства, ограничены. Следовательно, наступит время, когда изобретательному уму мастеров – во всяком случае, с течением времени – удастся снять покров с последних тайн шахматной игры. И в этот момент, когда пример мастеров приобщит всю массу шахматных любителей к

полному познанию игры, ее развитие будет закончено». Так еще в начале прошлого века считал Эмануил Ласкер.

Понятно, что в то время компьютеров не было и в помине, поэтому великий философ игры логично предполагал, что загадку шахмат должны разрешить ее мастера.

«Давид против Голиафа» – назвал Бронштейн вышедшую в 1996 году книгу, куда вошли его собственные партии с компьютером. Но компьютеру тогда было далеко до Голиафа. «У человека есть интуиция, генетический опыт, он знает слово “осторожность”, он знает, что куда-то вообще лучше нос не совать – но компьютер?!» – вопрошал Бронштейн.

Он ратовал в борьбе с машиной за гамбитную игру, «пытаясь завлечь программу на минное поле комбинационных ударов», а после 1.e4 c5 к ходу 2.b4! ставил восклицательный знак.

Два десятка лет – вечность по компьютерным меркам и неудивительно, что всё, сказанное им в книге об игре с машиной, безнадежно устарело.

«Мне казалось, что соревнуясь с компьютером в острых, гамбитных схемах, человек в бурном океане может найти путь по звездам к берегу. А не только в том случае, когда на берегу светит маяк», – объяснял Бронштейн.

Писал, что самое трудное в игре с компьютером – это психологическое давление: ничья с ним выглядит как проигрыш. Наверное, это так и выглядело тогда.

Почти сорок лет назад, играя с сильнейшей в мире шахматной программой, я легко победил в первой партии, другая закончилась вничью. На следующий день Доннер саркастически осведомлялся о моем позоре: невероятно! как можно не выиграть у такого безмозглого существа?

Бронштейну было грустно сознавать, что праздник романтических шахмат отшумел и нужно довольствоваться трезвыми, рациональными шахматами, в которых тон задают не мечтатели и романтики, а спортсмены и прагматики. «Шахматисты сами вырыли себе могилу, чтобы алгеброй проверить гармонию божественной игры», – утверждал Бронштейн.

Красивые слова, но шахматисты здесь ни при чем, и чьей-то злой воли здесь нет. Сегодня все аспекты человеческой жизни проверяются алгеброй, и могилу шахматам Бронштейна вырыли не шахматисты, а время, никогда не стоящее на месте.

«В позиции всегда присутствуют комбинации, то что они не найдены, свидетельствует только об отсутствии воображения» – писал Бронштейн.

Увы, это далеко не всегда соответствует действительности, и поиск комбинации, которой в позиции просто нет, может привести к пустой трате времени.

В творчестве Бронштейна среди навсегда вошедшего в историю игры мрамора тоже можно найти немалое количество дешевого гипса и трухи. Невозможно каждую партию играть с вдохновением и подъемом, и дело здесь не только в мешающем творить сопернике, на которого жаловался еще Алехин. И, разумеется, не в жалких трехрублевых талонах на питание, из-за которых Бронштейн не хотел, по его собственным словам, атаковать позицию Смыслова. И даже не в самом шахматисте, у которого не всегда бывает настроение, случается недомогание, плохой сон, или просто выпадает не его день.

Дело в природе самой игры, где с помощью машины стало возможно найти цепочку верных, зачастую единственных ходов, как правило, ведущих к равновесию.

И конечно, как и во всех рассуждениях Бронштейна не обошлось без его главного обидчика. Он критиковал «компьютерный» метод мышления Ботвинника, полагая что тот «болезненно реагировал на чужую гениальность и писал с нарочитым пренебрежением о шахматном искусстве».

Процитируем Ботвинника: «Иногда (а, может быть, часто!) мышление шахматиста окружают мистическим ореолом: работу мозга шахматиста представляют как какое-то чудо, волшебное и совершенно необъяснимое явление.

Более того, утверждается, что не только мышление шахматных “гениев” является загадкой, но и достижение выгод

на доске происходит по каким-то волшебным законам шахматного искусства.

Мы должны принять, что непознанные закономерности шахматной борьбы объективно существуют, что они могут и должны быть познаны так же, как и неопознанный метод мышления гроссмейстера.

Более того, можно предположить, что и закономерности эти и методика мышления сравнительно элементарны – играют же в шахматы дети, и неплохо!» (Ботвинник 1960).

Проницательная характеристика шахмат, данная Патриархом более полувека назад. Ботвинник и Бронштейн смотрели на шахматы с разных позиций и каждый отстаивал свой взгляд до конца.

Комментируя отношения выдающихся шахматистов, Том Фюрстенберг пишет: «Ботвинник, возможно, и впрямь считал Бронштейна своим врагом. Что касается Бронштейна, то он до сих пор относится с большим уважением к Ботвиннику-шахматисту, но ему были несимпатичны методы, с помощью которых Михаил Моисеевич прокладывал себе дорогу к званию чемпиона мира и в дальнейшем пытался удержать звание».

Это, конечно, очень смягченная формулировка: утверждать, что Бронштейн не имел никаких претензий к Ботвиннику-шахматисту, значит уподобляться туземцу из анекдота, зарезавшего жену и несущего домой нижнюю половину: а я с ней никогда не ссорился.

«После матча, хотя мы с Бронштейном и здоровались, он для меня перестал существовать, – говорил Ботвинник за полгода до смерти. – Последние годы я стал относиться к нему нормально, но он меня до сих пор ненавидит».

Сделанное Ботвинником в восьмидесятых годах предложение наладить отношения Бронштейн отверг. Думаю, причиной тому были не только занозы, глубоко вошедшие под кожу; просто в этом случае он оказался бы обездоленным, лишившись главной темы своих монологов.

Услышав о смерти Патриарха, Бронштейн сказал: «Ну что ж, Ботвинник доказал, что и он смертен», – и решил

публично поквитаться с ним в своих последних книгах и интервью. Достиг ли он своей цели – ведь любые мемуары почти всегда сведение счетов?

Не думаю. Они принадлежали в шахматах к разным весовым категориям. Напрашивается аналогия: Стейниц – Чигорин. Один – гигант, глыба, другой – блестящий виртуоз атаки, король комбинации, выдающийся мастер, но – из другого ряда. Фигура другого порядка.

Когда задули студеные ветры свободы, драпированной нелепым словом «перестройка», Бронштейн получил наконец возможность поделиться своими воспоминаниями, но вся жизнь в Советском Союзе тогда состояла из откровений: прошлого стало вдруг так много, и каждый хотел рассказать о своем.

Он вспоминал, как оказавшись на палубе парома по пути из Дании в Швецию и вдохнув свежего морского воздуха, впервые почувствовал себя по-настоящему свободным.

Бронштейн не сознавал тогда, что вместе с морским вдохнул опасный воздух свободы, испытание которым способны выдержать далеко не все. Говорил: «С самого детства я привык быть свободным в своих мыслях и поступках и, несмотря на страну, в которой вырос, всегда старался жить в таком же стиле».

В 1991 году он гостил у Корчных в Швейцарии. Когда жена Корчного заметила за обедом: «По-моему, вы у нас первый человек оттуда», Бронштейн взорвался: «Я – откуда? Как оттуда? Я?»

Ему вторит жена и соавторы. Татьяна Болеславская: «Ничто Дэвик не ценит больше свободы. Прожив всю жизнь в государстве, где свобода была лишь чисто теоретическим понятием, Дэвик сумел остаться внутренне совершенно свободным».

О том же Том Фюрстенберг: «Давид называл себя человеком свободным, говоря не раз: “пусть они думают, что я с ними, на самом же деле...”».

«Софизм – полагать, что при диктаториальном режиме можно быть внутренне свободным... Огромной ошибкой является представление, что человеческий индивидуум может существовать сам по себе. Полнейшей чепухой является мысль, что можно обладать внутренней свободой при деспотических режимах, потому что твои мысли никогда не являются полностью твоими». Это – Оруэлл, понявший всё раньше и лучше многих.

Еще жестче сказал Александр Пятигорский: «внутренняя свобода – привычное вранье. Так врут холопы, получившие временную поблажку от своих господ».

Совсем молодым Бронштейн оказался в авангарде советского истеблишмента: огромная популярность, высокая стипендия, заграничные поездки, в которых ему была доверена высокая честь: представлять в мире страну победившего социализма.

Но путешествовать в первом классе невозможно, не оплачивая входного билета на лояльность, даже если человек уверяет себя, что эта лояльность чисто внешняя. Говоря, что система давила, ломала и подчиняла людей себе, мы попадаем в психологическую ловушку, противопоставляя систему людям. В действительности сами люди были неотъемлемым компонентом системы, поэтому важно не преувеличивать конфликтность Бронштейна с режимом и не путать диссидентство с двоемыслием.

«В неискренности с самими собой, в сознательных или бессознательных попытках отделить себя в прошлом от системы я вижу главный порок описания того времени даже в мемуарах вполне достойных людей. Тем, кто искренне или цинично солидаризовался с властью, было легче жить – оттого их было так много. Но те, о которых мы говорим, продолжали жить по принятым режимом правилам, постоянно обманывая себя, воображая, что избегают его мерзостей.

На самом деле грань, отделявшую нашу внутреннюю духовную независимость от примитивного конформизма, от прямого участия в этих мерзостях, была так тонка и хрупка,

что нередко, сделав какой-то, казалось, совершенно независимый шаг, мы оказывались в тенетах власти, на ее стороне. Более того: среди близких ей и поощряемых ею».

Это цитата из воспоминаний Сарры Владимировны Житомирской (1916–2002), честно и очень правильно сказавшей о границах свободы в тоталитарном обществе.

Как и многие, не чувствовавшие себя комфортно в условиях системы, Бронштейн превосходно владел искусством недосказанности и намека. Это было великое искусство того мифологического времени, когда приходилось внешне быть лояльным по отношению к режиму, но при этом подмигивать: вы же понимаете, я совсем другое хочу сказать. Пусть я марширую с ними, но в такт другой музыки!

Правильным кодом поведения было тогда: не говорить, когда надо молчать, и не молчать, когда надо говорить. Он тоже вынужден был следовать этому коду, хотя очевидно, что для него это было особенно тяжело.

Если в советское время он просто не решался сказать, что имеет в виду, когда появилась возможность рассказать абсолютно всё во всеуслышание, он по-прежнему продолжал говорить аллегориями и намеками, культивируя вокруг себя атмосферу тайны.

Когда он в очередной раз говорил – «вы понимаете, конечно, что я имею в виду», – хотелось сказать: «не понимаю» – и приходила в голову старая, запомнившаяся еще со школьных уроков добродюбовская формула: «не столь важно то, что хотел сказать автор, сколь то, что сказало им».

Будучи общительным и скрытным одновременно, он не договаривал всего. Ведь откровенность и скрытность необязательно исключают друг друга.

Как могут быть его слова интерпретированы? Что случится, если они будут обнародованы? Какие последствия они могут иметь для него лично? – я постоянно чувствовал эти сомнения во время наших разговоров.

Отягощенный табу на вещи, которые, как ему казалось, понятны каждому без объяснений, выдающийся

физик Исаак Халатников в своих воспоминаниях предупреждает, что не договаривает до конца, и что «читатель может сам о многом догадаться». Речь идет, понятно, не о каких-то военных секретах, а о людях и ситуациях того времени. На самом деле, именно то, о чем предлагает догадаться читателю ученый, и есть наиболее интересное, а читатель, если не жил в то время, сам не догадается ни о чем.

Так и Бронштейн не устал повторять, что на него оказывалось психологическое давление, что «Ботвинник и его мафия отняли у меня титул», а когда у него спрашивали о конкретных деталях, только иронически улыбался, многозначительно смотрел на собеседника и продолжая говорить загадками.

Если уж я, проживший почти три десятка лет в Советском Союзе, далеко не всегда понимал, что он подразумевает, на что намекает – каково приходилось слушателям Бронштейна на Западе?

Оставив в первом издании своей знаменитой книги «Международный турнир гроссмейстеров» собственные партии с Геллером и Смысловым фактически без комментариев, он был уверен: читатель обо всем догадается сам. И удивляется, что «никто ни о чем не догадался».

Известный прием умолчания, прибежание к метатексту, когда главное находится в «щелях» между высказываниями, в паузах, стал его излюбленным ходом, когда речь заходила о матче с Ботвинником.

Он создавал множество версий, подгоняя их под слушателя, как портной подгоняет вытачки с учетом требований заказчика. В объяснениях более поздней чеканки вдруг обнаруживались факты, не упомянутые раньше, но «неожиданно» всплывшие в памяти.

Однажды сказал своему соавтору Тому Фюрстенбергу: «Я стал гроссмейстером, чтобы вытащить своего отца из тюрьмы и не выиграл матч на мировое первенство, чтобы он в нее снова не попал». Но на следующий день говорил, что

всё было не совсем так, что Том – западный человек и этого ему не понять.

«Времена Советского Союза и секретов прошли, но когда заходит речь о матче с Ботвинником, Бронштейн по-прежнему говорил полунамеками, недоговаривал, отделивался фразами – “вы ж понимаете, что я попросту не мог выиграть этот матч, мне не дали выиграть матч и т.д.” – писал Ханс Рей. – Пришла пора назвать вещи своими именами и сказать правду о том, что же было тогда в действительности».

Полгода спустя Бронштейн говорил голландскому гротмейстеру, что тогда в Москве его никто никуда не вызывал и матч на мировое первенство никто не заставлял проигрывать. Но уже через пару месяцев в очередном интервью снова говорил «вы же понимаете, я был вынужден, я просто не мог выиграть этот матч», повторяя старые намеки и напускающая прежнюю таинственность.

Организатор турниров в Линаресе Луис Рентеро запомнил рассказ Бронштейна, как он утешал заливающегося слезами Фишера после партии, проигранной американцем Спасскому в Мар-дель-Плата в 1960 году. «Послушай, меня заставили проиграть целый матч Ботвиннику, так я и то не плакал, не плачь из-за одной партии», – сказал Бронштейн юному Бобби. В более позднем интервью Бронштейн говорил, правда, что точно не помнит об этом разговоре: «Слишком много времени с тех пор прошло...» Но тот же рассказ слышал от него и я, да и другие.

«Он просто-напросто искал отговорки, придумывая то одну, то другую, – полагает Виктор Корчной. – Однажды жаловался, что ему просто негде было жить, в то время как Ботвинник имеет всё. В другой раз, что во время матча только и думал о судьбе отца, что НКВД ему мешало... Потом еще что-то, каждый раз по иному объясняя факт своего невыигрыша матча. Ботвинник был много свободнее Бронштейна, нередко рассказывая о событиях, в которых сам совсем не выглядел в хорошем свете, скорее наоборот. Вспомним, например, его откровенный рассказ о походе в высшие инстанции, когда речь шла о том, кого послать на АВРО-турнир в

Амстердам – его или Левенфиша, и многое, многое другое. В то время как Бронштейн, даже когда можно было сказать уже абсолютно всё, напускал туман и говорил иносказательно или намеками».

«Конечно, Давид непроизвольно уступил этому давлению; впрочем, никто, даже он сам не знает, что подсознательно происходило в его мозгу», считает Том Фюрстенберг.

Я тоже не надеялся проникнуть во все эти умолчания и отточия, но однажды, когда он в очередной раз начал говорить, что не хотел выигрывать у Ботвинника, но не хотел и проигрывать, попробовал сыграть ему в масть: «Вы не хотели оказаться в положении победителя, но и не хотели проигрывать ему, потому что, если бы вы хотели проиграть Ботвиннику, то проиграв и достигнув своей цели, вы таким образом все-таки стали победителем, чего вы очевидно не хотели».

Лучезарная улыбка была мне ответом: «Наконец-то я разговариваю с человеком, который понимает, что я имею в виду!» – воскликнул Бронштейн.

Марк Тайманов вспоминает, как через несколько дней после окончания матча встретился с Бронштейном в московском кафе. «Мы все уже думали, что вы побеждаете Ботвинника. Обидно все-таки Дэвик, что вы не выиграли матч...», – неосторожно заметила жена Тайманова.

Не дав ей договорить, Бронштейн воскликнул: «So what?» и рассказал об англичане, выстроившем шикарную виллу, в ванной комнате которой поместил белую лошадь. В ответ на недоуменный вопрос о присутствии лошади хозяин особняка сообщает, что если его лондонский приятель придет в гости и задаст такой же вопрос, он ответит: «So what?» Мило. Но шутка, за которой спрятался Бронштейн, только еще раз говорила о кровоточащей ране.

Когда он в очередной раз начал: «Поверьте, меня этот чемпионский титул совершенно не интересовал», – я заметил: «Вы знаете, Давид, как дед Тулуз-Лотрека сообщал по утрам за завтраком своей жене, рожденной герцогине,

что именно они потеряли в результате революции 1789 года?»

Бронштейн недоуменно смотрел на меня. «Когда его жена отвечала, что это ей совершенно всё равно, дед художника саркастически улыбался: “Гражданка герцогиня, это вам не всё равно, потому что, если бы вам это было действительно всё равно, вы бы об этом не вспоминали ежедневно...”»

«Я вас уверяю, – взял меня за локоть Давид, – мне это действительно было безразлично, вы думаете, я не видел хода ♠а6 в двадцать третьей партии? Такого простого хода? Вы так думаете?...»

Я понял, что любое замечание на эту тему не имеет никакого смысла и никогда больше уже не прерывал его, когда речь заходила о матче с Ботвинником.

Объяснением его недоговоренностей, намеков, умолчаний был страх, поселившийся в подкорке у советских людей, живших в ту страшную эпоху. Но и не только. Главным была глубокая уверенность, что правила и поведение человека тех дней должны быть понятны каждому. Пустые надежды.

Как выразить словами атмосферу 1951 года, в котором он жил уже взрослым, к тому же публичным человеком? Каким усилием воли, какими намеками, можно воссоздать кромешность того времени?

Как донести до новых поколений то жестокое, свернутое и брошенное в архивы истории удивительное время, на фоне которого два жестоковейных еврея вели в бой деревянные фигурки? Как передать словами всё это?

Одна из ведущих сотрудниц британских секретных служб в годы Второй мировой войны никогда не написала ни строчки о своей работе и никогда не говорила о ней. Когда на исходе прошлого века историки просили ее – уже в очень преклонном возрасте, но с абсолютно ясным сознанием – прокомментировать что-нибудь из того периода, старая леди только улыбалась: «Действительность была такой сложной, что никому не дано этого отразить».

Вздыхал иногда – у Кереса есть Эстония, у Петросяна – Армения. А у меня – что? О своем еврействе Дэвик, разумеется, никогда не забывал, но был при этом вполне ассимилированным человеком и, несмотря на всё различие с Ботвинником, тоже мог бы сказать: «я еврей по крови, русский – по культуре, советский по воспитанию». Он был далек от иудаизма, но и христианство его мало привлекало. Да и то: как он мог уверовать в божественность другого еврея?

В 70-х годах, когда еврейская эмиграция в Советском Союзе набрала полный ход, мог обронить: «Вот возьму и уеду в Израиль», но фраза эта ничего не означала. Так, капризничая, ребенок говорит родителям: «Вот убегу из дома, и вы меня никогда не найдете...»

Спросил как-то у знакомого журналиста: «Почему вы не уезжаете в Израиль? Неужели вам не хочется обрести свободу?» Тот же вопрос мог быть задан и ему самому, но в шкале ценностей Бронштейна свобода и всё из нее вытекающее располагалась далеко позади его собственного «я», его места в шахматах и в обществе, и всерьез возможности эмиграции он не рассматривал.

После посещения Израиля в 1991 году писал: «Оказывается, есть такие чудачки, которые любят и ценят свой народ за его вклад в мировую историю и культуру, но любить еврейское государство предпочитают заочно, не связывая себя какими-то обязательствами».

Это, понятно, о нем самом: Бронштейну было уже под семьдесят, да и у Израиля были проблемы более важные, чем забота о престарелых гениях шахмат.

Выбранный им более безопасный путь оказался на поверку более авантурным: он остался в Советском Союзе. Хотя многое, имеющее место быть в шахматах сегодняшнего дня, Бронштейн блистательно предугадал, предусмотреть, что произойдет в Советском Союзе через какой-нибудь десяток лет, он не мог: в прошлое эмигрировала сама страна. Деньги разрушили все перегородки, в изменившемся мире каждый

спасался в одиночку, и Бронштейну не было уютно в новой России.

Он был человеком духа: когда в обществе начался разгул материального, выяснилось, что это не то, о чем он мечтал. Только филистеры могут преуспевать при любых режимах. Давид Ионович Бронштейн никогда не был филистером.

«Человеческий мозг создан Господом не для того, чтобы оценивать его в числах», – заметил Бронштейн, недовольный оценкой силы шахматиста посредством рейтинга.

Мог сказать: «Хороший ход не надо рассматривать со всех сторон, не надо ставить под сомнение решение Высшего Судии – сложной мозговой системы, подаренной нам Создателем».

Большое количество заглавных букв не должно обманывать: к религии это никакого отношения не имеет. Кен Нит, у которого Бронштейн гостил в Англии, вспоминает, как однажды воскресным днем они с Дэвиком зашли в старинный средневековый собор в Дареме.

Служба уже началась. Тихонечко заняв места, они дослушали проповедь до конца. «Знаешь о чем я подумал, Кен?» – спросил Бронштейн, когда они выходили из церкви. Англичанин ожидал услышать какое-нибудь откровение теологического порядка. – В том варианте, который мы вчера смотрели, следует перевести коня на с5, и у черных полный порядок...»

Но хотя был далек от религии, в его рассуждениях частенько проскальзывало что-то талмудическое. Вторя пасхальным интонациям, в книге «Ученик чародея», сорок раз кряду он вопрошает: «Чему нас научила эта партия?»

Звучит парадоксально, но в высказываниях материалиста и атеиста Ботвинника тоже проскальзывало что-то библейское. Ведь рассказчик Библии скуп на детали: его интересуют лишь деяния и свершения, а не намерения и подробности.

Это полностью соответствовало взглядам Ботвинника, обнаруженным им перед смертью: «Условия, в которых

действуют люди, меняются. Они со временем растворяются в истории, а подлинные достижения остаются».

На сборе команды Москвы в 1975 году только что вернувшийся из месячного турне с сеансами одновременной игры по Швейцарии Бронштейн разговорился с Борисом Гулько и Марком Дворецким. Это был не первый его визит в Швейцарию. В 1953 году он участвовал в турнире претендентов, был там и в 1965-м, когда гастролировал по Швейцарии в течение трех недель вместе с Кересом и Флором.

«Замечательная страна, – делился переполненный впечатлениями Давид Ионович с молодыми коллегами, – вы обязательно должны побывать в Швейцарии, очень, очень рекомендую...»

Для обоих выезд в Болгарию в те годы был событием, и они в подходящих ситуациях повторяли эту фразу Бронштейна: «Замечательная страна Швейцария! Очень, очень рекомендую...»

Вспоминает Пал Бенко: «Однажды он взял меня под руку и сказал – давай-ка отойдем в сторонку, поговорим. Он отвел меня в угол комнаты – Дэвик всегда боялся, что его могут подслушивать – и начал какой-то длинный монолог. Противник режима, он был полон противоречий. В Монте-Карло в 1968-м сказал однажды: “Не понимаю, почему чехи нас не любят? Так много русских солдат погибли за свободу их страны, а они всё время стараются показать свою неприязнь к русским. Почему они хотят, чтобы мы ушли? Мы останемся там навсегда”».

В старое время он находил врагов то в Спорткомитете, то в Федерации шахмат, то в советской власти. После отмены ее стал жаловаться, что был обделен, что ему недодали, его забыли, «кинули». Свои жалобы Бронштейн вложил в последние книги, статьи и интервью. Всё, сказанное и написанное им за этот период, могло быть опубликовано под одним названием: ОБИДА.

Несмотря на все претензии, которые он мог предъявить к советской власти, и предъявил, когда это стало возможным, он вкусил немало от благ, полученных им от государства, которому был обязан очень многим, чтобы не сказать всем.

Он находился на полном государственном обеспечении, с ним работали находящиеся на довольствии у Спорткомитета лучшие тренеры. Конечно, валютная часть приза, оставляемая государством, была небольшой, но и такая, она превышала многомесячную заработную плату среднего гражданина СССР.

Трагедия, произошедшая после распада Советского Союза с пожилыми шахматистами, коснулась и Давида Бронштейна. Старые формы государственного меценатства исчезли, «старики» столкнулись с невиданной до того грубой формой диктатуры денег и, вспоминая ушедшие времена, тосковали по комфортабельной несвободе.

Синдром милосердия памяти, стирающей всё неприятное и сохраняющей только лучшее, не обошел и его: у него вымело почти всё дурное, связанное с советским временем, оставив только светлое, хорошее.

В наших разговорах он частенько сравнивал свои заработки с доходами его западных коллег. Как посмотреть, ведь никто из них не получал от государства ни гроша.

Макс Эйве преподавал математику в лицее, потом стал профессором в университете.

Решевский всю жизнь проработал скромным бухгалтером, помогая другим заполнять налоговые декларации.

Ройбн Файн, оставив шахматы, ушел в психологию и медицину. Эрих Элисказес зарабатывал на жизнь, давая уроки бриджа, а Николас Россолимо крутил баранку такси.

Блестящий журналист Савелий Тартаковер, знавший с десяток языков, до конца жизни жил в дешевой гостинице, а перечисление имен гроссмейстеров Запада, едва сводивших концы с концами, заняло бы не один абзац.

Бобби Фишер, упрекая советских гроссмейстеров в недостаточной любви к игре, в то же время завидовал их сти-

пендиям, бесплатным тренерам, бесконечным сборам, невероятной, особенно по сравнению с Соединенными Штатами, популярности шахмат в Советском Союзе.

Неоднократные поездки за границу считались для любого советского человека в те, да и в любые времена, одной из самых высоких привилегий в сетке жизненных благ. По фразе Бронштейна о посещениях Франции в 1969 и 1972 годах, когда он и Смыслов «вновь устроили себе французские каникулы», молодой читатель начала XXI века скользнет равнодушно глазами, вряд ли отдавая себе отчет, что в те времена подобные «каникулы» дозволялись только избранным из избранных. Единицам.

Непростое существование Бронштейна еще более ухудшилось после того, как он в 1976 году не подписал письмо советских гроссмейстеров с осуждением Корчного.

Бронштейн был тогда на турнире в Польше, где играл вместе с Айваром Гипслисом. На звонок Батурина из Москвы ответил латышский гроссмейстер и тут же согласился поставить подпись под антикорчновским письмом. Когда Батуринский попросил позвать к телефону Бронштейна, тот сказал Гипслису: «Передайте, что вы меня не нашли...»

Думаю, что Гипслис так в точности и передал эти слова шефу советских шахмат: «Бронштейн просил передать, что я его не нашел...»

Ведь в противном случае Гипслис лично был бы ответственен за то, что не удосужился разыскать коллегу. Как бы то ни было, имени Бронштейна под документом, осуждающим Корчного, не появилось.

Последствия его детской хитрости – «передайте, что вы меня не нашли» – были очевидны. К тому же гроссмейстер уже справил полувековой юбилей и давно не входил в первые эшелоны советских шахмат.

По истечении времени Бронштейн откровенно сожалел о своем поступке: «С годами я всё чаще задумываюсь над тем,

а надо ли было мне так безоглядно жечь мосты? Все “подписанты” благополучно прожили эти годы, ездили по миру, играли в престижных турнирах, набирали рейтинги, раздавали интервью, совесть их не мучает. Более того, ни в одном шахматном журнале я никогда не видел слов осуждения в их адрес. Да и сам Корчной однажды удивил меня фразой: “Я не настолько наивен, чтобы судить о людях на основании того, подписали ли они письмо против меня или не подписали”».

Бронштейну был запрещен выезд на турниры в Западную Европу на десяток лет. Но он продолжал вести рубрику в «Известиях», играл в турнирах в Советском Союзе, пару раз в странах Восточной Европы, и только путь на Запад был ему закрыт.

Проблемы с выездом за границу испытывали многие гроссмейстеры в Советском Союзе. С такими проблемами сталкивался не только Бронштейн, но и – в разные периоды своей карьеры и по разным причинам – Керес, Таль, Тайманов, Спасский, Корчной, не говоря уже о богах меньшего калибра. Даже Ботвинник после слишком откровенного интервью в русском эмигрантском журнале стал на четыре года «невъездным».

На Олимпиадах и в командных первенствах Европы Бронштейн всегда играл очень хорошо, но с конца шестидесятых годов его перестали приглашать в команду. Несмотря на подводные течения и интриги, всегда имевшие место быть в советских шахматах, спортивный принцип всё же соблюдался, и за сборную страны выступали Ботвинник, Смыслов, Бронштейн, Керес, Геллер. Потом их места заняли, Петросян, Таль, Спасский, Штейн, Корчной, Полугаевский, чьи спортивные успехи были выше, чем у Бронштейна.

В семидесятых годах шахматный бал в Советском Союзе правили уже представители нового поколения во главе с Карповым, а затем пришло поколение еще более молодых, ведомое Каспаровым. Они показывали в первенствах Советского Союза несравнимо лучшие результаты чем ветеран, далеко не всегда попадавший в эти первенства.

Но привыкнув с юношеских лет к исключительному положению, занимаемому им в иерархии советских шахмат, Бронштейн, когда его звезда потускнела, не смог смириться с переменой своего места в этой иерархии.

Вспоминал: «Я и сам отчасти был виноват: ни разу не обращался ни в шахматную федерацию, ни в Спорткомитет с просьбой направить меня на какой-нибудь турнир. Помню, как после возвращения с турнира в Югославии в 1979 году, я в сердцах сказал всесильному зампреду Спорткомитета СССР Ивонину: “Я никогда не приду к вам за турниром, потому что вы делаете вид, что вы мне даром выдаете тысячу долларов”».

Тогдашний куратор шахмат в Советском Союзе, беседа с пятидесятипятилетним гроссмейстером, наверное, действительно полагал, что посылая Бронштейна на заграничный турнир, занимается благотворительностью: ведь к успехам советских шахмат, о которых мог бы рапортовать Ивонин, Бронштейн не имел никакого отношения.

«Начальник управления шахмат однажды заявил мне, что одного турнира в год для игрока моего класса достаточно, а персональные приглашения, которые приходят на мое имя, для них никакого значения не имеют!» – вспоминал Бронштейн. Имелся в виду Виктор Батурицкий, сказавший ему однажды, показав пальцем в потолок: «Вами там очень недовольны...»

Функционеры действительно не любили этого вышедшего в тираж *траублмейкера*, но, видя, конечно, его чудачества, позволяли играть роль фрондёра, небожителя, городского сумасшедшего, оригинала и чудака, размахивающего картонным мечом.

Люди, живущие в дон-кихотовской действительности, как правило, не могут убедительно обосновать своих действий. С прагматиками они вступают в неразрешимый спор, стоящих у власти – раздражают. Это вечные отщепенцы, бессильные переделать мир, сделать свою реальность всеобщей и потому не нужные никому.

В глазах функционеров, он был попросту боязливым шлемилом, своенравным, но совершенно не опасным. Они знали, что имеют дело с человеком, который «в речах витийствовал, но был пуглив как муха».

Пусть его – полагали они: иначе снова будет критиковать систему отбора, одобренную советской федерацией, или писать жалобы и письма в ФИДЕ, как это было, например, когда Бронштейн просил включить его в число участников межзонального турнира.

Отношение к Бронштейну можно было сравнить с отношением к странствующему идальго в герцогском доме; на него смотрели как на чудака, говорящего, что несправедливость должна быть разрушена. И это смешно.

Когда у Бронштейна спрашивали – есть ли у него ученики? – он отвечал: «Нет у меня ни учеников, ни последователей. Никто не смотрит на шахматы так, как это делал я».

Такого рода высказывания разбросаны здесь и там в интервью и статьях Давида Бронштейна. Говорил он это и мне, добавляя иногда, что считает себя учеником Лябурдонне.

Бронштейн консультировал Виктора Корчного, Нону Гаприндашвили, Майю Чибурданидзе. Оказавшись на Западе, он тренировал шахматистов Испании, Исландии, Англии, Бельгии.

Нет сомнения, что общение с гроссмейстером такого калибра было полезно каждому, но тренерскими способностями Бронштейн не обладал.

Он мог найти неожиданную идею, блестящую комбинацию, оригинальный план, но мышление его не было дидактическим. Бронштейн ратовал за импровизацию, но можно ли научить этому компоненту игры? Ведь по-настоящему импровизировать может лишь тот, кто знает роль назубок.

Когда Бронштейн стал шахматным профессором в Овьедо, от него ожидали чуда. Еще бы, Великий Давид Бронштейн приезжает в провинциальный испанский городок, чтобы передать любителям свой опыт и знания!

Действительность оказалась другой. И дело было даже не в том, что вещи, казавшиеся ему само собой разумеющимися, для других таковыми не являлись. Слишком велика была тяга к оригинальности, часто переходящей в оригинальничанье.

Он разбрасывался, увлекался, вызывая в учениках скорее восхищение, чем давая конкретные знания. Профессор постоянно отвлекался от темы, а то мог смахнуть с доски фигуры и, заявив что шахматы игра очень простая, начать рассуждать о демаркационной линии и кинетической энергии фигур. Он был хорош по вечерам, в кафе, за стаканчиком красного вина, но не в аудитории университета. Очень скоро это стало ясно всем.

Его сорок советов в «Самоучителе шахматной игры» носят настолько абстрактный характер, что напускают еще больше тумана, и если начинающие решили бы придерживаться этих советов, у них голова пошла бы кругом.

«Самоучитель» – это просто пришедшие ему в голову идеи – забавные, оригинальные, поучительные, но ничего не имеющие общего с учебником шахматной игры. И в большинстве случаев разговор сводится к самому интересному для Бронштейна в шахматах – самому себе.

Одна из его последних книг называется «Ученик чародея». Соглашаясь вынести комплимент себе самому на обложку, Бронштейн так объясняет название: Том Фюрстенберг, соавтор книги, стал его, чародея Бронштейна, учеником во время совместной работы над ней.

Из этой книги можно немало узнать о личности автора, его взглядах на разнообразные аспекты игры, но научиться играть в шахматы по этой книге нельзя: тому, чем обладает автор, научить невозможно.

В классической легенде волшебник совершает чудо: разрезает старика на куски и бросает в котел с кипящей водой – из котла выходит молодой человек. Его ученик проделывает то же самое. Чуда не происходит: убитый старик не возвращается к жизни. Есть что-то, чему не может научить никакой чародей.

Тибор Флориан говорил, что хотя Бронштейн сильно привязан к России, ум его независим, а сам он живет в постоянных противоречиях с правящей в СССР бюрократией. На самом деле проблема была много глубже.

Конечно, в отличие от Ботвинника, превосходно вписавшегося в благоволившее к нему время, Бронштейн чувствовал себя в нем неуютно, но какое время и какая система пришли бы ему впору?

«Этот человек не советской властью недоволен, он мирозданием недоволен» – прочел я однажды у Ильфа и сразу вспомнился Бронштейн, – пасынок своего, да и любого времени.

Его уму, всё подвергавшему сомнению, было тесно в рамках жесткой, обозначенной четкими координатами и запретами системы СССР, Израиль он предпочитал любить на расстоянии, но и Запад, «ставший на путь коммерциализации и не признававший истинных художников и чудесников», оказался для него неуютен.

Сразу после того как железный занавес был разгерметизирован, Бронштейн, будучи не в силах противиться соблазну, оказался по другую его сторону, и длительным пребыванием на Западе с лихвой компенсировал вынужденное воздержание.

«Я всю жизнь рвался “за флажки”, во мне бродил этот вирус свободы. И сейчас я могу ездить куда хочу и когда хочу», – писал он, когда открылись границы гигантской страны.

Вместо каши, которую отпускали ему в Спорткомитете раз в год по чайной ложке (если отпускали вообще), он вкусил медвежатину вольной жизни и вкусил ее сполна. Но легко ли, когда тебе уже сильно за шестьдесят, просыпаться каждое утро в чужой стране?

Ведь одно – провести две недели на каком-нибудь турнире за границей, и, отчитавшись в Спорткомитете, жить в надежде на следующую поездку, другое – жить за границей постоянно.

В различных странах Западной Европы Бронштейн провел в общей сложности около восьми лет, только время от

времени возвращаясь в Москву. Может быть поэтому чужбина, не став ему родиной, не превратила и родину в чужбину, оставшись местом, куда всегда можно вернуться, ежели станет совсем невмоготу.

Когда прошла эйфория и накопилась усталость от путешествий, Бронштейн стал бывать за границей всё реже и реже, а потом и окончательно осел в Москве. Он еще больше сторонился коллег, хотя и за рубежом предпочитал находиться в обществе любителей и почтительно внимавших ему поклонников.

В рецензии на его, написанную совместно с Сергеем Воронковым книгу «Давид против Голиафа», вышедшую по-английски под названием «Секретные записки», журналист недоумевал: «Я не вижу никаких секретов в описании его путешествий по Европе после развала Советского Союза. Ведь он мог наконец поехать куда и когда ему хочется. Почитатели Бронштейна всегда наряжали его в одежды мученика, что не значит, что ему не довелось вести трудную жизнь. Я ведь тоже один из его поклонников. Да и кто не является таковым?»

Рецензента можно понять: что может быть секретным в рассуждениях о двухстах долларах, выданных организаторами, о завтраках в гостинице, включенных в счет проживания, о просторной комнате, выделенной ему в общежитии для преподавателей в Овьедо, о бесплатных обедах в столовой? Рассуждениями о Париже, «для осмотра которого абсолютно достаточно трех дней», о вине – разумеется, французском, являющимся для автора синонимом лучшего?

Всё – глазами советского туриста, вырвавшегося наконец на свободу и сообщающего банальности, вызывающие недоуменное поднятие бровей у любого человека на Западе да и в современной России.

Он был уже очень пожилым человеком, к тому же очень трудным в общении, и избыток кислорода не пошел ему на пользу. Если раньше таящееся в подвалах сознания он со-

хранил для себя, теперь возникло новое, не менее трудное испытание: что говорить, когда можно говорить всё?

Рисуя картины былого, он постоянно вкрапывал в них думы о былом, но не всегда было понятно, где былое, а где – думы. Ведь играя матч с Ботвинником, 27-летний Бронштейн смотрел на жизнь не в исторической перспективе, и мысли о собственной фотографии в ряду великих чемпионов были от него далеки; благосклонность девушки, с которой он гулял под дождем, казалась ему важнее места в шахматной истории.

Как и у любого человека, оглядывающегося на жизнь в старческом возрасте, в его монологах было очень трудно определить – какие мысли владели им тогда и какие оказались рефлекторными в свете настоящего.

За границей уже после Перестройки у него нередко спрашивали, за какую страну он играет. «Года три, пока все привыкли, что я играю за Россию, я перед партией совершал своеобразный ритуал: втыкал два российских флажка – один в лацкан пиджака, другой ставил рядом с собой на столик», – вспоминал Бронштейн.

Он остался патриотом, но не той страны, которая приговорила к семилетнему заключению отца и заставила его самого пугливо озираться всю жизнь, а той, в которой протекли его детство и юность, образа жизни, недоступного подавляющему большинству сограждан, страны, где он стал тем, кем стал.

Несмотря на неприятие многих советских нравов и обычаев, было в его рассуждениях о заграничье что-то от – «у советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока».

Гордость и обида, ностальгия и ирония, пренебрежение и патриотизм, – всё переплелось у Бронштейна по отношению к той исчезнувшей стране.

Иронически говоря в интервью последнего периода жизни о «капиталистическом рае», он едва ли не дословно повторял слова Фонвизина, сказанные русским писателем после заграничного путешествия: «Господа вояже-

ры лгут бессовестно, описывая Францию земным раем...»

После последней поездки Давид Ионович писал с горечью: «Увы, исколесив за несколько месяцев пол-Европы, мы убедились, что не всё золото, что блестит. Общая деградация культуры коснулась и шахмат. Никому не нужны больше ни импровизаторы, ни мыслители, ни кудесники. Нужны хорошо тренированные, накачанные игроки, умеющие четко исполнять программу. И поняла Татьяна Болеславская, что ее рабочее место в Минском университете, а я – что мне надо жить и умирать в России, где если сегодня меня и забыли, то, возможно, вспомнят завтра».

Он был трижды женат. Первой его женой была шахматистка Ольга Игнатьева. Когда в 1947 году у них родился сын, в шахматных кругах упорно муссировался слух, что имя мальчику было выбрано не случайно: получилась полная аналогия с Троцким: Лев Давидович Бронштейн.

Сегодня звучит как анекдот, но в те времена было не до шуток: лишиться свободы можно было и за значительно меньшие прегрешения. Знаменитого архитектора Ноя Абрамовича Троцкого попрекали родством с «фашистом, предателем и убийцей», но архитектор защищался, утверждая, что Троцкий – его настоящая фамилия, «в отличие от бронштейнов, которых несть числа».

Особенно усердствовал в распространении слухов о полной аналогии имен с пребывавшим в анафеме вождем Октября Александр Котов, имевший немалый вес в советской шахматной организации и связи которого с КГБ ни для кого не были секретом.

Во время межзонального турнира в Сальтшёбадене в 1948 году один из зрителей, эмигрант из Прибалтики, подойдя к партии Бронштейна, игравшего с Тартаковым, закричал: «Проклятые коммунисты, вы принесли несчастье моему народу, погубили моего отца и мою родину!» – и смахнул фигуры с доски вместе с флажком с изображением серпа и молота.

Нарушителя тотчас вывели из зала, а участники турнира еще долго, улыбаясь, шушукались: «Чего это он решил расчитаться с Бронштейном и Тартаковым, а не ударил по доске Котова, игравшего рядом?...»

На международный турнир в Венецию в 1950 году приглашение получили два сильнейших шахматиста Советского Союза. Ботвинник готовил докторскую диссертацию и отказался сразу. К поездке стали готовиться Бронштейн и Смыслов. Котов приложил массу усилий, чтобы Дэвик был заменен, и Бронштейн был заменен. Самим Котовым, разумеется.

По словам Тайманова, имя сына Бронштейна было потом изменено на Лаврентий, но давать имена в честь вождей в Советском Союзе было неблагодарным занятием. Не знаю, соответствует ли версия Тайманова действительности; привожу ее, следуя принципу Светония: «лишь затем, чтобы ничего не пропустить, а не оттого, что считаю ее истинной или правдоподобной».

Неизвестно, под каким именем живет сейчас Лев Давидович – единственный сын Бронштейна, но с тринадцати лет фамилию он носит материнскую – Игнатьев.

Супруги расстались вскоре после рождения сына, хотя официально развод был оформлен много позже. Длительное время Давид жил один, снимая комнаты здесь и там, порой останавливался в гостиницах.

В конце концов он получил двухкомнатную квартиру в ведомственном доме министерства внутренних дел. В 1957 году женился на Марине Михайловой, они прожили вместе почти четверть века.

С 1984 года Бронштейн был женат на Татьяне Исааковне Болеславской, дочери друга детства.

Татьяна Исааковна вспоминает, что в московской квартире поначалу у них не было ничего, кроме огромного ковра, и гости располагались прямо на этом ковре: «Бывали знакомые, нельзя сказать что друзья, но знакомые. Приходил известный академик-радиолог А.С. Павлов. Разговоры

не всегда велись о шахматах, но через призму шахмат, о добрых старых временах, о месте Бронштейна в шахматной иерархии.

Хотя академик, боготворивший хозяина дома, был старше Дэвика только на пару лет, Бронштейн звал его по имени-отчеству, а тот говорил ему Дэвик. Отношения у них были как у отца с сыном, и не только потому, что Дэвик где-то оставался подростком всю жизнь, но и потому, что такие отношения были ему знакомы более всего...»

Принадлежа к не такому уж нераспространенному типу людей, постоянно говорящих, что им плохо, даже если на самом деле всё хорошо, он регулярно жаловался на жизнь, неприкаянность, непризнанность.

Знавшие Бронштейна времен его выдающихся успехов вспоминают, что даже тогда он не осмеливался признать сложившуюся судьбу удавшейся, словно боясь накликать беду.

Это довольно распространенная еврейская черта: не может же никогда быть всё хорошо, нельзя радоваться, слишком много смеешься – придется плакать.

Если он вел себя так в самые удачные периоды жизни, что говорить о времени, когда шахматные успехи стали обходить стороной, когда стали одолевать недуги, когда пришла старость.

Сожаления о жизни, растроченной на глупости и пустяки, мог бы разделить с ним едва ли каждый: только-только начал что-то понимать, а финиш уже совсем рядом, а до твоих переживаний и причитаний никому нет дела.

Не помню уж кто разбил всех людей на принципиально счастливых и принципиально несчастных и показал, почему тягостно, а порой и невыносимо иметь дело с последними. Понятно, в какую категорию входил Давид Бронштейн.

Он не раз повторял, что ему не дали заниматься математикой, в которой проявлял немалые способности и о чем мечтал в юности.

Шахматный мастер и профессиональный математик, кандидат наук Сергей Розенберг рассказывал, как однажды, выслушав монолог Бронштейна на эту тему, продиктовал ему задачу.

По словам Розенберга, совсем простенькую, не составляющую труда для любого, даже начинающего. Дэвик с задачей не справился, о чем и признался на следующий день, но рассказ о несостоявшейся карьере математика остался в его репертуаре, хотя и стал звучать реже.

Разговаривая с Ботвинником, я в конце концов понял, что не имеет никакого смысла ввязываться в дискуссии: что значат аргументы и логика, когда есть сложившееся мнение, поколебать которое не может никто.

С Бронштейном было иначе. Принадлежа к типу общительных одиночек, ищущих уединения и в то же время обожавших быть на людях, он получал удовольствие от самого общения, тем более, что в процессе дискуссии первая скрипка всегда принадлежала ему.

Игравшие с ним в одних турнирах вспоминают, что номер Бронштейна в гостинице превращался в маленькое кафе, двери в которое были открыты постоянно и где можно было всегда подкрепиться чаем, кофе, соком, а то и более крепкими напитками.

Но людям, подходившим к нему на близкое расстояние, легко не было. Сергей Рудаков писал о Мандельштаме: «Пусть он сто раз псих. Кто не может его вынести, только слаб. А кто может – с тем стоит разговаривать. Меня-то он изводил достаточно, а как бы был я к чертям годен, если бы из-за этого только перекис».

Благим намерениям моим следовать современнику великого поэта и видеть Бронштейна в историческом аспекте мешала суетливая манера изложения его, перескок с темы на тему, но главным образом – почти всегда противоречивый смысл того, что он говорил. И даже если я пытался не забывать, что человек с репутацией гения находится вне общепринятых оценок, удавалось это далеко не всегда.

Порой, симулируя непрерывное внимание, я ловил себя на мысли, что идеи излагает человек, находящийся на краю психического здоровья. Частенько он выворачивал наизнанку общепризнанные факты ради очередного эпатажного наезда на слушателя, вопросы к которому носили риторический характер, являясь на деле мостиком для подтверждения его собственных теорий.

Нередко он говорил о бортике доски, мешающей провести какой-нибудь маневр или комбинацию. Ему было тесно на шахматной доске, а в конце жизни он начал сомневаться в нужности самой игры и в правильности выбранного пути.

Говорил о Стаунтоне: «Да, он уклонился от матча с Полом Морфи, но зато был одним из лучших исследователей творчества Шекспира».

И тут же задавал риторический вопрос: «А что, по-вашему, имеет бóльшую ценность для культуры?» Для него ответ был ясен, хотя исследования Стаунтона в шекспироведении давно и прочно забыты, а имя шахматиста продолжает жить, хотя бы только названием шахматных фигур.

Англия. Гастингс. В первый дождливый день нового 1976 года на турнире был выходной, и мы долго сидели вечером в холле гостиницы. Речь по обыкновению держал Бронштейн. На этот раз он не только вспоминал Стаунтона, но и предлагал учредить золотой значок ФИДЕ и дать соответствующие права гроссмейстерам, обладателям элитных значков.

«Таким образом можно будет избежать инфляции титула», – говорил Бронштейн, прозорливо предвидя процесс, только-только начавший набирать ход. Он продолжал объяснять мне правильность создания «гроссмейстерской гвардии», как он называл гроссмейстеров, входящих в первую тридцатку, пока мы медленно поднимались на второй этаж гостиницы.

Мы уже пожелали друг другу спокойной ночи, когда он вздохнул: «В Гастингсе хорошо в шахматы играть, но делать здесь совершенно нечего, скука ужасная, особенно если дождь весь день льет...»

«Если вам интересно, Давид Ионович, у меня с собой “Архипелаг Гулаг” есть, я уже первый том кончил...»

Книга Солженицына недавно появилась в печати, и я захватил первые два тома в Гастингс.

Лицо Бронштейна изменилось и, хотя кроме нас в узком мрачноватом коридоре никого не было, он испуганно обернулся. Но, быстро совладав с собой, спешно откланялся, гордо произнеся: «Ну что мог нового написать Солженицын? У меня же отец сидел, я и так всё знаю лучше вашего Солженицына...»

Несколько дней он обходил меня стороной, только слегка кивая при встрече, но, мучимый тоской по слушателю, скоро возобновил свои монологи, которые только условно можно было назвать беседами.

Бальзак перебил однажды человека, рассказывавшего ему о болезни жены: «Вернемся к реальности, поговорим о Рюбампре» (герое только что написанного им романа «Утраченные иллюзии»). Так и для Бронштейна реальным миром был мир всего, связанного с шахматами.

В наборе повторяющихся историй никогда не кончающейся пластинкой был, конечно, матч с Ботвинником, и он постоянно говорил о том, что было и что могло быть, если бы не случилось того, что случилось.

Среди прочих тем его монологов любимыми были: форма шахматной игры, произвольная расстановка шахматных фигур за пешечной цепью, сокращение времени на обдумывание, обязательное использование графиков, из которых видно, сколько времени тратится на размышления, пляски на могилах живых классиков, устраивающиеся молодыми, думающими, что они первыми прониклись тонкостями игры, и получающими за это огромные гонорары.

Неоднократно предлагались им и конгрессы с обсуждением творчества корифеев прошлого и актуальных проблем шахмат, учреждение гвардии шахмат, сеансы, даваемые Grosмейстерами друг другу с публичным разбором сыгранных

партий на публике, которые он сам играл с Талем и Ваганяном, проведение астрологического кубка года: двенадцать отборочных опенов, по числу знаков Зодиака, в которых играют шахматисты, родившиеся только под этим знаком с финальным супертурниром, турнир, где каждый участник начинает с различным количеством определяемых по жребию очков – какую стратегию выберет тогда гроссмейстер? как будет бороться? Интересно!

Он говорил о рокировке ферзем, взятии пешками назад, взятии фигурами неприятельских пешек на проходе, введении оценок каждой партии: банальность – 0, корректность – 1, дерзость – 2, и т.д., предлагал в случае задержки соперника с ответом взятие хода обратно и множество других разнообразных новшеств.

Он исходил идеями, иногда причудливыми и нелепыми, иногда здравыми и повсеместно принятыми сегодня. Если я вижу Яна Тиммана, аккуратным почерком выводящего на бланке после каждого хода минуты, затраченные на обдумывание, я вспоминаю Давида Бронштейна.

Он раньше других уловил пульс времени и настаивал, что за полчаса, даже за пять, за три минуты можно сыграть очень хорошую партию.

Застывший в «капабланковском контроле» Ботвинник оказался неспособным понять и по достоинству оценить новаторские идеи Бронштейна. Контроль два с половиной часа на сорок ходов с непременным откладыванием партий ему казался установленным на все времена и единственно возможным, и когда Бронштейн предлагал отказаться от него, это выглядело подкопом под святое, каким-то кощунством.

Время показало правоту Бронштейна, и резкое ускорение игры, за которое он неумоимо ратовал еще десятилетия назад, всевозможные блиц и рапид-турниры широко приняты сегодня во всем мире.

А «шахматы Фишера», где фигуры расставляются в произвольном порядке перед партией, разве это не бронштейновская идея? А «баскская система»?

Что за странная забота –
Судьбы мира,
Где невзгоды Дон Кихота
Или Лира?

Давид Самойлов.

Он постоянно перечитывал Шекспира, особенно часто – «Короля Лира». Случайно? Он ведь, как и герой пьесы, тоже хотел и не хотел быть королем.

Но самым любимым героем его был Дон Кихот. Ведь Дон Кихот тоже не такой как все: странствующий рыцарь, странный чудак, сам начавший верить в реальность мечты. В собственных глазах он тоже был таким рыцарем, борющимся за идеалы добра и справедливости.

Есть, правда, и другие точки зрения на Дон Кихота. Одна: Дон Кихот – символ пустопорожней мечтательности. Другая – безжалостная: это человек, полный самолюбования и самообожания, способный одурачивать самого себя. Дон Кихот то трагичен, то смешон, то мудр, то нелеп. И чтобы оказаться Дон Кихотом, не обязательно быть носителем идеи – достаточно просто быть не таким как все. Станным чудаком.

Набоков, много занимавшийся Дон Кихотом, сравнивал его ум с шахматной доской в квадратах затмений и озарений.

Согласно словарю советских времен, Дон-Кихот – фантазер, наивный мечтатель, бесплодно борющийся с воображаемыми препятствиями за неосуществимые идеалы. Такого рода дон-кихоты не могли прийтись ко двору в стране Советов: в справлявшемся в Советском Союзе в 1955 году юбилее Сервантеса, не Дон-Кихот Ламанчский – смешной чудак, поехавший на поиски утраченной справедливости или того, что казалось ему справедливым, а показывающий как смешно бороться с реальной жизнью Санчо Панса стал главным героем романа.

Если под термином «донкихотство» в литературе можно понимать что угодно, не знающая сентиментальности медицина приравнивает донкихотство к «делирии», от латинского «delirium» – безумие.

В более поздние времена образом Дон-Кихота пользовалась советская психиатрия, помогавшая власти бороться с диссидентами, применяя термин «вялотекущая шизофрения», базировавшийся на дон-кихотских идеях отношения к правопорядку, вернее к его перемене.

Отражение реального мира при донкихотстве приобретает искаженный характер; речь идет о «церебральном органическом синдроме, характеризующимся возбуждением и повышенной психомоторной активностью».

Бесстрастные справочники говорят о гипермнезии – «болезненном обострении, усилении памяти с наплывом множественных воспоминаний», или о «болезненном состоянии психики, для которого свойственны говорливость и непоседливость. Для такого человека характерна тревога, ожидание беды, капризность, обидчивость, наплывы ярких воспоминаний. Эти воспоминания сопровождаются причудливыми представлениями о прошедших событиях, чрезмерной говорливостью, непоследовательностью речи, причем к старости симптомы усиливаются».

Сервантес, не зная к концу книги, каким бы еще новым титулом наградить героя, называет его Дон Кихот Запредельный.

У странствующего идаляго постоянно путается действительность с вымыслом, но и Давид Запредельный тоже выглядел порой разумным человеком не в своем уме, или безумцем на грани здравомыслия.

Но для Дон Кихота все мужчины – рыцари, все женщины – донны, а мир – благороднее, чем был в действительности, в то время как у Бронштейна мир шахмат погряз в меркантильности и цинизме, а коллеги, особенно молодые, перепевают уже давно известные, большей частью его, бронштейновские идеи.

Он не раз сравнивал свои искания с борьбой против ветряных мельниц. Но с чем он боролся? С кем?

«С кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой».

Анна Ахматова называла Надежду Мандельштам «мастером понижения», имея в виду образы современников, нарисованные вдовой поэта в «Воспоминаниях». Мастером понижения был и Бронштейн.

К каждому чемпиону мира, кроме разве что Фишера, у него были претензии.

Стейниц не догадался назвать матч за высший титул конкурсом, и шахматы пошли по неправильному пути.

Ласкер объявил их ментальным боксом и был основоположником школы «излучателей ненависти».

Капабланка – понял, что это элементарная игра и сделал себе имя на внешнем облике и светских манерах.

Эйве не был по-настоящему чемпионом мира, о Ботвиннике и так всё ясно.

Смыслов – «Сплавка в Цюрихе», Таль – «играл очень сложно, нагромождая варианты, которые в большинстве своем придумывал после партии».

Петросян – не соглашался играть с ним матч на первенство Москвы, опасаясь, что в случае выигрыша Бронштейн объявит себя неофициальным чемпионом мира.

Спасский, Карпов, Каспаров, Крамник тоже в чем-нибудь да провинились.

Когда я расспрашивал Бронштейна о Флоре, Левенфише, Геллере, неосторожно применяя эпитет «незаурядный», он только пожимал плечами: «Я не понимаю, что значит это слово».

Очевидно, он рассматривал такого рода эпитеты как попытку покушения: если другие могут попасть под определение «незаурядный», как в этом случае надо называть его?

Не могу припомнить, чтобы он вообще характеризовал кого-нибудь безоговорочно положительно, разве что шахматистов далекого прошлого. Впадая в довольно распространенную оптическую иллюзию, при которой прошлое всегда выглядит лучше настоящего, он пел панегирики шах-

матам Андерсена и продолжал говорить о Морфи, Филидоре, Лябурдонне как о недостижимом идеале.

Даже самые близкие – жена, Вайнштейн, Константинопольский, Болеславский, ему чем-нибудь да не угодили. Нередко говорил: «Я не хотел бы рассказывать об этом, но если уж вы спрашиваете...»

После чего сообщался эпизод из жизни человека, рисующий того в малопривлекательном свете. Когда он в очередной раз начинал свой рассказ о завидовавших ему секундантах, об источавшем ненависть Ботвиннике, о Вайнштейне, по какой-то причине самоустранившемся в матче 51-го года и не приславшем ему телеграмму в Цюрих, о девушке, безразлично отнесшейся к исходу его поединка с Ботвинником, о Тале, морочившем голову соперникам абстрактными вариантами, о Толуше и Бондаревском, научивших ругаться матом и пить водку Кереса, о самом Кересе, выступившем со здравицей на закрытии матча 1951 года, о молодых, устраивающих пляски на могилах стариков, вспоминалось категорическое библейское запрещение на недобрые речи о ближнем.

Потому что злоязычие – объясняет Библия – плохо для всех: для тех, о ком говорят плохо, для того, кто говорит плохо, плохо и для слушающего.

Варлам Шаламов, выйдя из лагеря, сказал: «Своим первоочередным долгом я считаю возвращение пощечин, не подаваний. Я всё помню. Но хорошее я помню сто лет, а плохое – двести».

Жизнь Давида Бронштейна сложилась много счастливее жизни Шаламова, и опыт их не сопоставим. Но есть и общее: не знаю сколько лет Бронштейн помнил хорошее, но плохое уж точно – двести.

Билл Харстон сказал ему однажды: «Дэвид, когда я слушаю ваши высказывания о шахматах, мне кажется, это речи безумного. Однако играете вы в шахматы вполне нормально».

Сам Бронштейн говорил: «Все думают, что я сумасшедший, но у меня есть одно большое преимущество перед другими сумасшедшими: по крайней мере, я это знаю, а они – нет!»

«Да, за гениальность нужно платить», – соглашается с этим высказыванием друг и соавтор Бронштейна Том Фюрстенберг. Во вступлении к их совместной книге он пишет: «либо этот человек обладает большим количеством энергии, либо долей безумия (вероятно обоими качествами сразу!)».

Об этом знали уже в древности. «Не бывает великого ума без примеси безумства» – сообщает Сенека мысль Аристотеля.

Сегодня большинство психиатров считают установленным фактом связь гениальности, высокой степени одаренности с психопатологическими расстройствами. Они полагают, что психические нарушения у гениальных и высокоталантливых людей протекают как правило атипично, не укладываясь в привычные категории. Следствием этого является разнообразие устанавливаемых «диагнозов».

Гениальная личность рассматривается как симбиоз двух компонентов: потенциальной одаренности и психопатического элемента, причем последний освобождает из подсознательной сферы компонент одаренности и помогает ему проявить себя. Эти психопатологические элементы не только не оказывают неблагоприятного действия, но очень часто являются составной частью гения.

Валерий Сергеевич Иванов – старый знакомец Бронштейна. Старого закала перворазрядник с кандидатскими баллами Иванов всю жизнь до выхода на пенсию проработал на московском заводе «Калибр».

Он вспоминает, что слова «гениальность» по отношению к себе Бронштейн не терпел, «но что он думал на самом деле, мне знать не дано. После разговора с ним я всегда спрашивал себя – кто сумасшедший, он или я? Давид Ионович

рекомендовал мне почитать книгу Ломброзо "Гениальность и помешательство"».

Мы склонны мыслить штампами и защищать своих «идолов» от подозрений в душевном нездоровье, и ни Иванов, ни Фюрстенберг не решаются, пусть и робко, произнести слово «психическое расстройство». Неудивительно: речь ведь идет о такой чувствительной субстанции, как человеческая душа. Наверное, они правы: вступив в зыбкое зазеркалье, мы оказываемся на таком тонком льду, где всегда неуверенно чувствовали себя даже крупнейшие психиатры.

Психотические симптомы являются частью нормального человеческого развития, и каждый имеет к этому генетическое предрасположение. Но особыми факторами риска являются травмы, полученные в детстве, а психотическое состояние или невроз могут пробудить гениальность или усилить ее.

Рудольф Шпильман, которого несколько раз поминал Бронштейн, писал о «трагической, в той или иной степени, отчужденности от мира сего, характерной для шахматных мастеров».

Нет сомнения, что профессия, избранная Бронштейном, способствовала углублению его странностей: шахматы на таком уровне вынуждают полностью концентрироваться на себе, собственных чувствах, очень часто запрятанных глубоко вовнутрь, подавленных эмоциях.

Знакомые Пастернака утверждали, что тот говорил вперемежку чушь и гениальные вещи; похожее впечатление оставалось после разговоров с Бронштейном: порой мне казалось, что я разговариваю с провидцем, иногда – с шизофреником, и я ловил себя на кощунственной мысли, что шахматы на самом высоком уровне скорее диагноз, чем игра.

Странности творческих личностей вынуждают нас задуматься о том, какую роль играют для творчества особенно-

сти их душевного склада. Осуществлялись ли те или иные свершения благодаря или вопреки? Может быть, талант это не только подарок, но еще и тяжкий груз, нести который под силу удастся далеко не каждому?

«Его случай, для которого психиатрия придумала ярлыки самых разнообразных и постоянно меняющихся диагнозов, должен рассматриваться как состояние, явившееся следствием навязчивого, но неожиданно завершившегося невроза, оставившего после выздоровления некоторое нарушение» – писал Фрейд об одном своем пациенте.

Никак не стану комментировать эти слова выдающегося ученого, процитирую вместо этого учебник по психиатрии.

«Нарцисстическая патология – это сохранившееся до взрослого возраста нормальное детское чувство собственной грандиозности. Для такого рода людей контроль за самоуважением находится где-то вне его, что и заставляет личность постоянно пытаться контролировать мнение окружающих о себе.

В связи с тем, что для нарцисстической личности чрезвычайно важна способность людей поддерживать их собственное чувство значимости, все остальные аспекты взаимоотношений меркнут для такого человека, и он испытывает большие сложности в том, чтобы любить кого-либо. Их потребность в других велика, но любовь к ним поверхностна.

Расстройство характеризуется грандиозным самомнением, верой в собственную исключительность. Такой человек полагает, что имеет какие-то особые права, он эксплуатирует людей, часто завидует другим и верит, что другие завидуют ему».

Являлось ли происходившее в душе Давида Ионовича психическим расстройством? И что такое психическое расстройство вообще? Да и где проходит четкая грань между здоровьем и болезнью?

Сказать не берусь, да и кто возьмется? Замечу только, что в Соединенных Штатах с 2013 года нарцисстическое строение личности больше не считается психическим расстройством.

Известный немецкий клиницист Гольдшейдер еще в XIX веке полагал, что «классической чертой евреев-неврастеников является страх перед болезнью, нервозность, чрезмерная подвижность, беспокойство, сосредоточенное внимание на каждом ощущении, чрезмерная склонность к реагированию на них, переоценка мелочей».

По мнению ученого, все эти свойства имеют глубокие исторические корни: «Постоянные преследования и унижение поселили в их сердцах непреходящий страх. Бесполезный человек, ищущий защиты и готовый к обороне, с типичной мимикой и жестами, с тревожным взглядом, обладает повышенной чувствительностью и комплексом симптомов, характерных для психастенического характера».

Портрет, будто списанный с Давида Бронштейна, измерившего в последние годы давление по несколько раз на дню, и находивший у себя всё новые болезни в дополнение к действительно имеющимся.

Его философствование можно было назвать научным термином «асинхронность семантических рядов», означающим несвязанность смысловых цепей, или, говоря попросту, перескоком от одной темы к другой, непоследовательностью изложения.

Но как ни называть его речи, – философией, философствованием, мудрствованием ли, высшей мудрости жизни – рассматривать каждый день как приключение и радоваться абсолютно всему, хорошему и дурному – ему дано не было. Впрочем, такой подход к бытию дается только очень немногим.

Нобелевский лауреат Эли Визель сказал как-то: «Если бы в моей жизни не было того страшного времени и Освенцима, я стал бы, без сомнения, учителем Талмуда в маленькой деревушке где-нибудь в Трансильвании, откуда я родом. Это совершенно очевидно».

Кем стал бы Дэвик Бронштейн, сын Иохонона Берко Бронштейна и Эстер-Малке Дувид Аптекарь, если бы Рос-

сийская империя не рухнула в одночасье? Наверное, семья так и осталась бы в Белой Церкви, которую многочисленное еврейское население городка называло на идише не иначе как «Шварце Туме» – Черная Чума.

Прожил ли бы он всю жизнь в этом городке? Стал бы сапожником, о чем Бронштейн сам не раз говорил в конце жизни? Многодетным бедным сапожником, любящим поспорить с самим ребе о тонкостях Талмуда? Городским сумасшедшим, на которого показывали бы пальцем? Или ходил бы в хедер, а потом, кто знает, способный, обладающий удивительной памятью мальчик, сам стал бы учителем в том же хедере?

Основал бы белоцерковское хасидическое течение в иудаизме и яростно боролся с толкователем Талмуда из Белоруссии, где другой цадик придерживался бы, по его мнению, закоснелых догм, не отвечающих духу времени? И окруженный учениками, спорил бы до изнеможения, защищая собственную, единственную правоту и толкований комментариев к Торе или еще более изощренных комментариев к комментариям?

Что произошло бы с Михаилом Ботвинником, если бы в России не произошло в 1917 году то, что произошло? Выбрал бы он по примеру родителей традиционную еврейскую специальность зубного врача? Закончив Политехнический институт в Петербурге, стал бы специалистом в новой научной отрасли – электротехнике? Или уехал бы в Америку, что сделали его дяди и тетя?

В старой Японии племя эта занималось забоем животных, публичными казнями и похоронными услугами.

Сомалийские иберы практиковали магию, хирургию и обработку кож.

В средневековой Корее народности сачук и хуачук были колдунами и телохранителями.

В тридцатых годах прошлого века в Советском Союзе существовало две сферы, в которых страна социализма противостояла буржуазному миру – классическая музыка и шахматы, и оба занятия были традиционно еврейскими.

Удивительный строй, аналогов которому не сыскать в мировой истории, вынес Мишу Ботвинника и Дэвика Бронштейна в шахматы, где оба достигли заоблачных высот.

Партии обоих навсегда останутся памятником той великой эпохе шахмат, когда передвижение фигурок на доске перестало быть просто игрой, превратившись в жестокую борьбу характеров и целых социальных систем.

Дерево легче всего измерить, когда оно лежит на земле, людей, – когда они лежат в ней. Сейчас, когда уже нет обоих, только их творчество, их партии могут показать нам масштабы каждого. Один из самых могучих чемпионов мира, заложивший фундамент современной подготовки, и выдающийся гроссмейстер, давший направление, из которого выросли и Таль, и Каспаров.

Их книги стоят на книжной полке в затылок друг другу. Их партии, можно найти в базах данных каждого шахматиста. По алфавиту: Ботвинник – Бронштейн. И по масштабу того, что оба дали шахматам.

«Можно ли называть воспоминаниями то, что положено на бумагу не через долгие годы или даже десятилетия, а немедленно...» – писала Лидия Чуковская о своих разговорах с Анной Ахматовой. То же самое могу сказать я о моих разговорах с Давидом Бронштейном.

Если не удавалось записать на диктофон его монологи, я наносил их на бумагу тотчас по возвращении домой или в гостиничный номер.

В случае же телефонного общения фиксировал их непосредственно в процессе разговора или после того, как трубка была положена. Замечу еще, что когда Бронштейн позволял включать диктофон, он всё время косился на него и был более зажат, чем в свободном полете мысли.

Если я звонил ему из Голландии, вначале он был несколько скован, но потом разогревался, набирал темп, и его речь, как всегда, текла непредсказуемым потоком, направление которого выбирал он сам.

Хотя он провел не один год за границей, Запад так никогда и не стал для него просто географическим понятием, и звонок из Амстердама оставался сигналом из «другой Галактики».

Я не заблуждался в отношении Давида Ионовича ко мне: подумаешь – вытянул счастливый номерок в лотерее и что-то воображает себе! Нас терзали! Нам не давали выехать за границу! Мы за них отдувались в этом болоте, а они там в свободном мире... Но всё равно, думаю, эти звонки были для него приятны: они возвращали его в страну, где он так часто бывал и которую любил.

Иногда он осведомлялся о людях, которых уже давно не было в живых, и просил передавать им привет. Или в очередной раз спрашивал об итальянском ресторане на Амстеле, в котором, как он полагал, я регулярно бываю вместе с теми, с кем сживал он сам полвека тому назад.

Однажды сказал: «Вы, Г., кстати, не называйте меня больше Давид Ионович. Говорите просто – Давид». Привыкнув на Западе к обращению по имени, я так и стал делать, но это давалось не каждому.

Борис Исаакович Туров, работавший в журнале «Шахматы в СССР», был на год старше Бронштейна, но всегда называл его Давид Ионович, а тот его – Борис.

«Называйте меня Давид», – сказал он однажды и Турову, но пиетет к великому шахматисту был таким, что, сказав пару раз Давид, Туров вернулся к привычному обращению по имени-отчеству.

Валерий Сергеевич Иванов вспоминает: «Только после четверти века знакомства я настоял, чтобы Бронштейн обращался ко мне по имени. “Ну, тогда и вы меня как-нибудь по-другому называйте, – сказал Бронштейн. – А то надоело – Давид Ионович! Давид Ионович!” “А как прикажете вас называть? Не могу же я говорить – Дэвик?” Сошлись на том, что отныне он – Маэстро. Поназывал его так с месяц, а потом всё вернулось на круги своя. – Нет, Давид Ионович, увольте меня от этого панибратства!...»

Распуская пряжу разговоров с Давидом Ионовичем Бронштейном, я убрал собственные ремарки: они мало что добавили бы к его портрету.

Память у него была удивительная. Цепкая, потрясающая, сорная память. Он помнил множество лиц, фамилий, имен, мелких бытовых фактов, жизненных историй.

Хотя мои записи не велись так последовательно, как это делал Эккерман, изо дня в день беседовавший с Гёте, всё же они могут дать представление о манере мышления выдающегося шахматиста.

Убрав многие повторы, кое-что я все-таки оставил: даже если читателю придется нелегко, у него создастся впечатление, каково было слушателю.

Из интервью в интервью, не говоря уже об устных рассказах, путешествовали одни и те же фразы, обороты, целые пассажи. И как это часто случается с аутодидактами, он частенько присваивал себе понравившуюся мысль.

«Не всегда он бывал понят, и его порой непросто было понять. Так или иначе – общение с Бронштейном не всегда доставляло радость, в том числе и самому Бронштейну», – осторожно вспоминал Вайнштейн в статье, написанной к его 60-летнему юбилею.

Корчной уверял, что Бронштейн разговаривал с ним, будто редактировал страницы собственной биографии. Похожее чувство было и у меня. Нельзя сказать, что он непрерывно позировал для скрытой камеры, как случается со знаменитыми людьми во все времена, но очень часто создавалось впечатление, что он говорит «на запись».

Им владело тревожное чувство оставить по себе не ту память и, пытаясь сформировать мнение не только у современников, но и у потомков, он выстраивал собственную биографию, тщательно направляя луч прожектора на отдельные факты и совсем не касался других.

Что ж, он не был единственным, кто к концу жизни задумывается об упущенных возможностях или хочет переложить сделанные ошибки на особенности времени или на плечи других.

Бывает, даже горький опыт является одной из радостей в старости, а простое воспоминание – пиршество. Для счастливых душ всё прошлое – неисчерпаемая сказка, но сказки Давида Бронштейна были если не грустные, но с обязательной горчинкой.

Ханс Рее, не раз игравший с Бронштейном и много общавшийся с ним, вспоминает, что хотя его монологи были полны самых разнообразных идей, глубокая печаль всегда была спрятана в них.

«Страдание – условие деятельности гения», – говорил Шопенгауэр. – Творили ли бы Шекспир и Гёте, философствовал ли бы Платон, критиковал бы разум Кант, если бы они нашли удовлетворение и довольство в окружающем их действительном мире, если бы им было в нем хорошо и их желания исполнялись?»

Он постоянно сетовал на размеры своей крошечной пенсии, но не думаю, чтобы получение большой денежной суммы могло бы явиться для него поводом, чтобы сказать: у меня прекрасные новости. Более того, не могу представить, по какому поводу он вообще мог бы произнести такие слова.

На нем висел какой-то тяжелый груз, к которому он привык и от которого не хотел освободиться, а потом, наверное, уже и не мог.

«Что пройдет – то будет мило, а что мило – то пройдет». Для него прошлое не стало милым, но он не хотел, чтобы и такое, не ставшее милым прошлое, ушло окончательно.

Второго октября 1999 года. Москва. Встретились утром около станции метро «Кропоткинская». Я заметил его еще издали, он стоял рядом с колонной, с той стороны Гоголевского бульвара, на которой находится Клуб.

Мимо сновали люди, спешащие в метро, и никто не обращал внимания на маленького человечка с кустистыми поседевшими бровями, в черном берете и с большими роговыми очками: великие ведь ничем не отличаются от нас – разве что ростом пониже.

Показывает пенсионное удостоверение, паспорт. «Посмотрите, я только что новый получил. Это мой первый паспорт в жизни, где нет графы национальность. Я даже чувствую себя как-то непривычно, как будто я к кому-то примазываюсь, кого-то обманываю. Как вы там сказали вчера: в родню чужую втерся?»

(Во вчерашнем телефонном разговоре, когда он уже говорил об отсутствии графы национальности в новом паспорте, я вспомнил: «Я в ряд их не попал, но и не ради форса с шеренгой прихлебал в родню чужую втерся»).

«Взгляните, у меня в графе – место рождения – написали “белая церковь”, так с маленькой буквы и написано, как будто я в церкви родился! И смех, и грех... Вот такая жизнь теперь стала.

И пожаловаться некому, чтобы тебя защитили. Ведь раньше было примерно девять инстанций, чтобы пойти пожаловаться. Спорткомитет, Федерация, «Динамо», можно было в ЦК написать даже. Я правда, этого не делал, но написать можно было.

А пенсия у меня – пятьдесят долларов, не особенно-то разгуляешься. За звание “пенсионера местного значения” и сто рублей прибавки к пенсии должен был еще бороться... У меня спрашивали – а где вы были в 1942 году? Вы понимаете? Нет, вы понимаете?.. В 42-м году!»

Был серенький осенний день, и мы не торопясь шли в сторону его дома. Вместо привычных лозунгов, эмблем и силуэтов коммунистических вождей повсюду были видны гигантские рекламы «Макдональдса», «Сони» и «Филипса».

Мы шли по арбатским переулкам, на пороге стоял уже ХХІ век, а он путешествовал по давно утекшему времени и вспоминал людей, которых уже давно не было.

Он говорил о матче с Ботвинником, о событиях полувековой давности, не упуская из вида малейших деталей, как будто через несколько часов ему надо будет идти доигрывать злополучную 23-ю партию, и показывал новенький,

прекрасно сохранившийся билет 1951 года – «участник матча на мировое первенство Бронштейн Д.И.»

Формулировка, которая его особенно задевала: «Нет, вы понимаете, – просто участник, нет вы понимаете, что это такое...»

Он говорил о трудностях теперешней жизни, своей неприкаянности, забытости, потом, резко меняя пластинку, о своей безграничной популярности, хотя было крайне сомнительно, чтобы в маленьком, похожем на служку в синагоге человечке, семяющем по арбатским переулкам, кто-нибудь узнавал одного из самых легендарных шахматистов середины XX века.

Спустя пять минут мы остановились у дверей его дома. «Давайте зайдем ко мне, но только не пугайтесь, у меня беспорядок ужасный, я разбираю бумаги, я всё сейчас привожу в порядок...»

Когда Марсель Пруст поселился в огромной квартире на парижском бульваре Осман, он приспособил для своих нужд только две комнаты, все остальные превратив в склад. В московской двухкомнатной квартире в Афанасьевском переулке Давид Бронштейн жил постоянно, но у зашедшего создавалось впечатление, что сюда только что въехали, или наоборот, всё готово для переезда, и хозяева пакут пожитки.

Бивуачное состояние началось у 17-летнего Дэвика в июне 1941 года, и он, привыкнув к нему, даже не предпринимал попытки перейти к оседлому образу жизни. Конечно, постоянная жизнь на колесах в гостиницах во время турниров или на сборах только способствовала этому.

Его квартира напоминала музей, библиотеку и склад одновременно. Коробки, чемоданчики и сумки, ящики, лежащие на стульях, на столе, а то и просто на полу, карты, брошюры, справочники, бюллетени турниров полувековой давности, журналы, вырезки из газет, запись шахматных партий, листочки с диаграммами, книги.

Чемоданы, в которых можно было найти записные книжки, папки с корреспонденцией, кубки, медали, жетоны и

значки, старые журналы, фотографии, бланки партий, визитки, письма от любителей шахмат, от организаторов турниров. Не выбрасывалась ни одна бумажка, сохранялось всё, вплоть до ресторанных счетов и поздравлений с трафаретными пожеланиями здоровья и счастья, сотнями рассылаемых под Рождество на Западе.

Здесь можно было найти билет на пароход в Англию, его первую заграничную поездку в 1947 году, равно как и другие билеты его заграничных вояжей. Как гоголевский Плюшкин, Дэвик не выбрасывал ничего, и вся квартира представляла из себя гигантский развал, который он только «начал разбирать».

Общение человека с собственным архивом – эфемерный способ еще раз прожить свою жизнь. Феномен этот сродни другому, часто встречающемуся у пожилых людей, избегающих выбрасывать вещи. Залежи свалочной рухляди в домашних владениях стариков вполне в их понимании оправданы: зачем выбрасывать вещь, при случае всё может пригодиться, а если руки дойдут, можно будет заняться разборкой – выбросить ведь можно всегда.

Надо ли говорить, что разбирать эти завалы приходится близким, и львиную долю вещей ожидает очевидная участь: отправиться вслед за хозяином. (Замечу в скобках: не знаю, как Ботвинник поступал с бумагами, но каждые шесть лет им производилась инспекция платяного шкафа. Если какая-нибудь вещь не находила употребления за этот промежуток времени, она безжалостно выбрасывалась. Почему была взята отметка – шесть лет, не знаю, но у Патриарха были, без сомнения, свои соображения на этот счет).

Среди гигантского скопища самых разнообразных предметов Том Фюрстенберг, гостивший у Дэвика в конце девяностых, обнаружил мешочек с сахаром из кафе «Миранда», захваченный молодым Бронштейном, когда он играл в 1956 году в претендентском турнире в Амстердаме. Оказалась в целости и сохранности визитная карточка самого Фюрстенберга, которую будущий соавтор Бронштейна вручил ему тогда же.

Однажды, когда у Бронштейна за границей пропал багаж, он был удручен не столько потерей имущества, сколько пропажей огромной стопки визиток, собиравшейся десятилетиями, и записной книжки с сотнями телефонных номеров.

Когда я писал о Клубе на Гоголевском и вспомнил о работавшем там тихом незаметном демонстраторе, никто из москвичей, заядлых посетителей Клуба, не мог вспомнить даже фамилию его.

В записной книжке Бронштейна сохранились не только полное имя-отчество и фамилия, но и адрес, по которому проживал давно покойный Изя Землянский.

Конечно, Бронштейну было далеко до Энди Уорхола, у которого на видном месте в гостиной стоял специальный ящик для всякой всячины. По мере наполнения ящик опечатывали, надписывали и на его место ставили новый.

К концу жизни у Уорхола накопилось 612 ящиков, которые он называл «капсулами времени» и в которых можно было обнаружить письма, вырезки из газет и журналов, фотографии, просто мусор различной степени экстравагантности. Иногда, правда, в нем можно было найти и собственные работы Уорхола.

Но если эксцентричный американский дизайнер рассматривал «капсулы времени» как объекты искусства, страсть Бронштейна была явлением другого порядка. В его ящиках находились предметы, так или иначе связанные с его собственной биографией. Бронштейн начал сбор архива в середине 40-х годов прошлого века, потом накопление этих овеществленных воспоминаний делалось автоматически.

Помимо различного рода грамот, медалей, кубков, удостоверений, жетонов и прочих наград здесь можно было найти билеты в театр, программы концертов и спектаклей, календарики, письма, сувениры и сувенирчики, привезенные из различных стран мира, часы, показывающие время, остановившееся десятилетия назад, авторучки, содержание стержней которых давно высохло, старые карманные шахматы, салфетки, картонные подставки для пива, фотографии, на которых были изображены люди, зачастую неведо-

мые ему самому, значки, вымпелы, диапозитивы, путеводители, какие-то квитанции и массу других самых разнообразных предметов. Погружаясь в воспоминания о событиях и людях того времени, он частенько перебирал, пересортировывал эти предметы, но никогда ничего не выкидывал.

Когда я в первый раз увидел эти залежи, вспомнилось: у кого порядок на столе, у того порядок и в голове, но потом я увидел, что в этом хаосе, так же как и в его речах, был какой-то только ему одному ведомый порядок.

Немало предметов из коллекции Бронштейна было приобретено в заграничных поездках, где он являлся благодарной темой шуток и подтруниваний коллег. Они сформулировали четыре правила, которыми руководствовался Бронштейн при покупках за границей.

Главное условие: вещь должна быть дорогой. Второе: покупка должна быть нетранспортабельной. Третье: такой вещи ни у кого в Москве не должно было быть. Четвертое: приобретение не может носить утилитарный характер и не может быть пригодным к использованию в условиях Советского Союза.

В 1954 году в Америке Бронштейн приобрел полный комплект клюшек для гольфа. В том же году в Лондоне, в спортивном магазине, где Пауль Керес покупал теннисную экипировку, не умеющий и так никогда не научившийся играть в теннис Бронштейн, не желая отставать от эстонского гроссмейстера, купил ракетку «Шлезинджер» и дюжину фирменных мячиков.

Из Польши привез пару боксерских перчаток. В 1956 году приобрел в Амстердаме кофейный сервиз, совсем не думая о последствиях, связанных с перевозкой, и всю дорогу держал сервиз в самолете на коленях.

В Рейкьявике купил «Графа Монте-Кристо» на исландском языке и четыре одинаковых номера экземпляра журнала со статьей о Шекспире.

Согласно «Энциклопедии снобизма», настоящий сноб избегает того, что делают все остальные, причем это касается не только поведения, но и пристрастий, покупок и т.д.

Общая манера поведения Бронштейна очень вписывается в эту характеристику, хотя сам Дэвик яростно восстал бы против определения «сноб».

Юрий Авербах вспоминает, как однажды в Буэнос-Айресе Бронштейн отправился делать покупки с кем-то из посольства: «Возвращается, тащит картину. У коллег вытянулись лица – ??? Давид: “Не мог же я при посольском покупать какое-то барахло...” Тогда же из Аргентины привез огромный комплект пластинок какой-то оперы. После турнира в Вейк-ан-Зее приобрел по просьбе Кереса особенные шины для машины. Вес – семьдесят килограмм, перевес огромный. Пришлось отправлять покупку морским путем. Жена Марина, увидев эти шины, плакала: “Хоть бы губной помады привез...”»

В Цюрихе в 1953 году купил чемодан медикаментов. Марк Тайманов вспоминал совместный с коллегами поход в аптеку, где Бронштейн осведомился о наличии лекарств от ангины, и ему выложили целый набор пилюль.

«Спасибо, а нет ли у вас еще чего-нибудь?»

Ему принесли другие таблетки.

«А, может быть, у вас имеются иные средства?»

Полка вскоре опустела, а Дэвик, выложив за всё немалую сумму, к ужасу поразившихся такой нелепой трате драгоценной валюты коллег, триумфально покинул аптеку.

Вырезки из газет и журналов со статьями о себе он хранил особо, и рябило в глазах от фамилии Бронштейн на самых разных языках. Он постоянно пересматривал все подборки, не в силах оставить в покое эту бумажную накипь славы.

Ни одна заметка в журнальчике шахматного клуба, даже отпечатанная на гектографе, ни одно замечание, комплимент, похвальное слово, вскользь брошенное после сеанса одновременной игры, выражение благодарности, записка, посвящение на книге, не должны были пропасть. Не была забыта ни одна речь, ни одно поздравление.

Брошенное невзначай организатором турниров в Линаресе портье гостиницы: «Этот человек входил в четверку лучших шахматистов мира», – сохранено для потомства. В

собственных книгах Бронштейна сообщаются тосты, комплименты, строки из рецензий, афишные подробности.

Если представляется возможность, всё, сказанное о нем самом, записывается на магнитофон, чтобы потом в тиши московской квартиры еще и еще раз прослушать слова об «одном из лучших шахматистов мира, ставшем легендой уже при жизни, и что если бы Бог играл в шахматы, то играл бы как Бронштейн».

В книгах и интервью неоднократно цитируется фраза Макса Эйве, рассчитанная на человека, далекого от игры: «то, что делает Бронштейн, – это уже “сверхшахматы”; он может рассчитать на 20 ходов вперед, в то время как простым смертным это не удастся больше чем на пять». Неоднократно цитируется Бент Ларсен: «Порой мне кажется, что шахматы прежде всего искусство; тогда я ставлю выше всех Бронштейна».

Не забыт Ларри Эванс, в свое время провидчески издавший книжку «Лучшие партии Давида Бронштейна 1944–1949». А не запаматовал ли Леонид Шамкович о планах написания книги с его избранными партиями? Что-то ничего не слышно от бывшего московского, а теперь нью-йоркского гроссмейстера.

С гордостью повествуется, как он в конце 1967 года указал руководителям общества «Динамо» при подсчете медалей, что он, Бронштейн, является «двойным победителем: в тот год спартакиадный турнир являлся одновременно командным первенством страны, так что руководители в своей отчетности его медаль могут рассматривать как две».

Здесь и там – фотографии Фишера. Что привлекало Бронштейна в эксцентричном гении? Страстная преданность игре, фанатизм? Может быть. Но не было ли здесь и преклонения перед безжалостными, беспощадными шахматами американца? Или успехи Фишера, сокрушавшего советских коллег Бронштейна, настолько проливали бальзам на его душу, что Дэвику было просто приятно каждый день видеть лицо американца?

1 апреля 2000 года. Бронштейн встретил Иванова новостью: «“А мне сегодня Фишер позвонил” “Неужели правда?!” “Шучу, конечно”. А в глазах грусть».

«Вы понимаете, у меня сейчас полный ералаш. Посмотрите, кстати, – стаунтоновские шахматы, мне их подарили в Рейкьявике. Это точная копия тех, которыми Фишер и Спасский играли матч в 1972 году».

Мы подходим к шкафу. В обширной библиотеке Бронштейна имелись не только шахматные книги, но и художественная литература, альбомы по искусству, всевозможные справочники, атласы и неимоверное количество словарей, зачастую диких, редко встречающихся языков. Энциклопедия на испанском, купленная в Овьедо, толстенный учебник высшей математики, тоже на испанском. Тут же – сборники анекдотов, приобретенные в Лондоне еще в 1947 году и благополучно сохранившиеся до начала следующего тысячелетия.

«Взгляните – часы с секундомером, отсчитывающим время до сотой доли секунды, вы понимаете, что это значит, ведь тогда рекорд мира был на стометровке 10,2 секунды. Нет, вы понимаете? 300 франков за них отдал в Швейцарии, помню как сейчас. Единственное, что осталось от того турнира. Посмотрите, это я из Африки привез, а это из Аргентины. А это – “Атлас сердца”... Купил его в Коста Рике. Подробнейший! Все клапаны, сосуды, желудочки... Всё до мельчайших подробностей. Правда ведь, хорошо! Жалко, что атласы и других органов не приобрел тогда...

А вот взгляните, – книжечки английских кроссвордов, купил, чтобы решать их, если меня не будут посылать на заграничные турниры. “Взгляните, пожалуйста”, – он показывает книгу Геллера с посвящением – “Давиду Бронштейну – старому другу с наилучшими пожеланиями, а также с благодарностью за творческие идеи, которые в свое время привлекли меня в ряды староиндийцев”.

А вот посмотрите, что писал тогда обо мне аргентинский журнал, или вот этот – испанский: “Бронштейн – сильнейший игрок в мире”. И вы знаете, я **был** сильнейшим игроком в мире. Так же как атланты держали небеса, я всю жизнь пробовал держать импровизацию в шахматах на собственных пле-

чах. И что это принесло мне? Я играл в чемпионатах Москвы, которые избегали все сильнейшие гроссмейстеры. Я делал это потому, что хотел доставить удовольствие любителям...»

«Вам знакомо это положение?» – он поймал мой взгляд на позицию, расставленную на магнитных шахматах. «Это одна партия Файна, ранняя, я всё думаю, чего это он здесь ладью не взял. Разговаривали с ним однажды? По-голландски? Да, у него жена ведь была голландка. Файн, знаете, был умнейший человек. Когда услышал, что вторая часть первенства мира в 1948 году будет играть в Москве, сразу отказался от участия, в то время как Эйве и Решевский еще какие-то надежды лелеяли. Смешные...

А вот взгляните на диаграмму, говорит она вам что-нибудь?» (показывает какой-то потрепанный английский шахматный журнал).

«Нет? А с таким шахматистом знакомы? Даже не слышали? А ведь Кроун* был гений, гений! Он умер совсем молодым, я сейчас его партии смотрю. Взгляните, как он здесь Котова разгромил, посмотрите, посмотрите. Собираюсь написать о нем. Видите, как Кроун комментирует эту партию, варианты приводит, а в конце пишет: “Не думаю, что я нашел бы все эти варианты за доской”. Кто сейчас так пишет? В Англии его считали гением. Он еще до Таля играл в талевском стиле. А что Таль? По чьим партиям он учился?

Вот, помню, проиграл он партию какому-то испанцу, потом сказал – до восьмого хода досчитал, потом не видел. А испанец этот девятый ход комбинации видел. Я в Испанию ведь одно время вообще хотел переехать. Конечно, по-испански я много хуже говорю чем по-английски, но говорю.

А вот в Исландии пошел как-то в магазин, так мне хозяйка магазина овечью шкуру подарила, хотите я вам покажу...

* Гордон Томас Кроун (1929-1947). Английский шахматист. Занял 2-е место в первенстве Великобритании (1946) и 3-е (1947). Победил во втором (мастерском) турнире в Гастингсе (1946-1947). В 1947 году играл на 4-й доске с Котовым в матче Англия – СССР и победил его в одной партии (проиграл вторую). В том же году умер на операционном столе от перитонита в возрасте 18 лет.

Я футбол раньше любил, да и теперь люблю. Я ведь на базе “Динамо” жил, так всех футболистов знал и Михаила Якушина, потом он тренер знаменитый стал... Так он, когда его журналисты допрашивали о динамовской стратегии, говорил всегда: “Если у нас мяч, наша цель – прорваться к воротам и забить гол, а ежели мяч у наших соперников, наша цель – защищаться и не допустить того, чтобы они нам гол забили”.

Вот тебе и стратегия вся. Я и Бутусова помню, даже басков помню, когда они до войны в Киеве играли, вот какой я старый...

...а то что в шахматы за два с половиной часа можно сыграть лучшую партию чем за пять минут, так это иллюзия. Иллюзия и обман. Вот вы говорите, что сейчас на интернете играют партии высокого качества по три минуты и даже по минуте.

Ну вот, вы понимаете о чем идет речь, да и уже все понимают. А я о чем всю жизнь твердил? Так почему же не перейдут повсеместно на такую игру? Почему? Как вы думаете, какими моими победами я горжусь больше всего? Не знаете? Я вам скажу – три блицтурнира на приз “Вечерней Москвы” – 1948, 1952 и 1953 годов – вот мои лучшие достижения!

Сейчас много турниров с укороченным временем, но меня туда не зовут. Я эти турниры придумал, а они обо мне даже не вспоминают. А когда-то ведь по-другому думали. Когда я после банкета в гостинице “Метрополь” после Олимпиады 1956 года на улицу вышел, Найдорф предложил: качать лучшего шахматиста мира! И меня принялись качать. Было это как раз на том месте, где сейчас памятник Марксу стоит.

А вообще-то мне нравится, как играл Лябурдонне. Вы знаете партии Лябурдонне? Я вам советую – переиграйте, переиграйте его партии. Если у меня спрашивают – чей я ученик, я всегда говорю – Лябурдонне, я учился играть в шахматы у Лябурдонне...

Вы понимаете, не могло тогда быть, чтобы Ботвинник не выиграл первенство мира в 1948 году, просто не могло быть. А я его просто переоценил, я думал, что он великий позици-

онный игрок и только в конце матча понял, что стратег-то он неважный, что он, как говорил Симагин, “мелкотравчатый тактик”. Пусть Симагин это и не о нем сказал, но к Ботвиннику это очень подходит – “мелкотравчатый тактик”.

Честно говоря, мне игра Ботвинника никогда не нравилась, в Киеве мы играли в другие шахматы – интуитивные, дерзкие. Мы всю эту московско-ленинградскую игру называли – ладья d1-c1. А мы играли в другую игру, нашими героями были Морфи, Андерсен, Шпильман. К Ботвиннику у нас отношение было скептическое, все эти позиционные планы были для нас непонятны.

На чемпионате СССР 44-го года в Москве я сыграл с ним свою первую партию. Партия была отложена, и он записал не лучший ход. Мне удалось перехитрить его в эндшпиле. Я сделал выигрывающий ход и пошел в буфет выпить стакан чая. Когда вернулся, не нашел ни Ботвинника, ни столика, а судья объяснил, что Ботвинник сдался, и на доигрывание уже поставлена другая партия.

...Ботвинник ведь всегда особняком держался. Не помню, чтобы он когда-нибудь пожимал руку: он протягивал свою ладошку, а мы ее пожимали. Было ясно, что он – особенный. После выигрыша звания у него голова закружилась, и он небожителем себя почувствовал. Стал полагать, что остальные вращаются вокруг него, как планеты вокруг светила. Вот уже сорок лет Ботвинник рассказывает, как выиграл у меня эндшпиль, потому что я не туда передвинул коня, и ему удалось спасти чемпионский титул. Одно передвижение коня – и потом такая огромная слава. В этом есть что-то несоизмеримое...

...ни у кого, кроме Ботвинника, не было этой идеи завоевать звание чемпиона мира – настолько бесконечно было наше уважение к таланту, к партиям Капабланки, Ласкера, Алехина. Не было среди советских шахматистов никого, кто стремился бы стать чемпионом мира. Не было! Кроме одного человека.

Выиграв в 1925 году в сеансе партию у Капабланки, он понял, что шахматы, в общем-то, примитивная игра, простая

очень. А став чемпионом мира, обманул в сущности шахматный мир, который хотел получить действующего чемпиона, а получил такого, кто за три года не сыграл ни одной партии. После 48-го года в течение трех лет – и ни одной партии!

А почему вообще был тогда тот турнир организован? Надо было просто объявить Эйве чемпионом мира, организовать межзональный, турнир претендентов, победитель которого играл бы матч с чемпионом мира, если уж Ботвинник так хотел стройную систему. А организация турнира в 48-м? Это же пародия на турнир была – с двухнедельным перерывом между Гаагой и Москвой. Курам на смех!

Я помню, спросил тогда Кереса: “Пауль Петрович, как вы могли допустить тогда это?” Так он на меня такой взгляд бросил, что я тут же осекся: беру, беру свой вопрос обратно. Тогда ведь всё под Ботвинника делалось, а ведь известно было, да он и сам говорил, что больше пятнадцати партий подряд не выдерживает...

С Паулем у меня всю жизнь были прекрасные отношения, вот посмотрите его послание ко мне... (открывает папку с письмами Кереса), посмотрите, что он пишет: “Вы хотите, чтобы с вами поступили так же как с Корчным? Вы хотите высказать свое собственное мнение, а ведь вы знаете, что у нас это не очень любят...” это письмо 75-го года, когда вся свистопляска вокруг Корчного в разгаре была, Корчной еще в Советском Союзе жил, а Пауль всё уже очень хорошо видел.

А знаете, кто секундантами Кереса были в 48-м году? Бондаревский и Толуш. Бондаревский два года на оккупированной территории находился, да еще матч с румыном Троянеску играл, с врагом. Троянеску ведь был членом партии Антонеску, и видным, а после войны, как водится, активным членом коммунистической партии стал, с Секуридаде сотрудничал. Дальше нужно объяснять? Теперь вы понимаете, в какой организации Бондаревский работал. Да и Толуш! Это они Пауля научили водку пить и матом ругаться.

...были ли мы с Кересом друзья? Давайте посмотрим на дело так: я простил ему, что он играл два года в немецких

турнирах во время войны, что он бывал в стране, уничтожавшей евреев. Я простил ему это. Но понимал ли это Керес? Можно ли нас обоих считать жертвами режима? Не понимаю, почему все пытаются представить жизнь Кереса в таких трагических красках? В мире есть множество стран, где я никогда не играл, а он играл, и не раз... Не говоря о всех привилегиях, которые он в Эстонии имел. Когда после смерти Алехина титул чемпиона мира вакантным оказался, имя Кереса, как претендента на этот титул, всегда называлось, я ведь в то время опережал его во всех важнейших турнирах и выигрывал у него принципиальные партии. Принципиальные! А как было на заключительном банкете после моего матча с Ботвинником? Всех просили сказать несколько слов. Так Керес разразился здравицей в честь Коммунистической партии и советского правительства!

Чего Ботвинник, кстати говоря, не сделал. Ботвинник только своих тренеров поблагодарил. Я думаю, что именно поэтому он не получил потом ни ордена Ленина, ни Героя социалистического труда. К счастью, они меня тогда забыли попросить выступить, хотя я ведь тоже кой-какое отношение к матчу на мировое первенство имел...

Закрытие то прошло с большой помпой. Председатель Всесоюзной шахматной секции еще лозунг кинул: "В этом матче нет побежденных, а есть победитель. И этот победитель – советская шахматная школа!" Вот так-то!»

«А, может, Г., нам перекусить, не могу сказать, что поражу ваше воображение разносолами, но что-нибудь на кухне, наверное, обнаружим...»

До знаменитого бронштейновского супа, рецепт которого был предельно прост: вали в кастрюлю всё что подвернется под руку, дело тогда не дошло, но Спасский, однажды отведавший суп, дал ему высокую оценку.

В Бронштейне жило аскетическое, почти наплевательское отношение к условиям существования, что совсем не значило, что он не получал удовольствия от сочного бифштекса, голландского сыра, стакана хорошего красного вина или рюмки коньяка.

Если жена была в Минске, всеми бытовыми проблемами Давида Ионовича занимался Валерий Сергеевич Иванов. Он вспоминает: «Познакомились мы в 1981 году. Чемпионат Москвы проходил в небольшом зале Олимпийского Дворца Sports. Надо сказать, что тогда я был очень увлечен шахматами, впрочем, благоговейное чувство к игре не прошло и по сегодняшний день. Не прибавив, однако, к моему сожалению, шахматной силы. А тогда я считал себя чуть ли не чемпионом мира по любви к этим фигуркам, покупал все выходявшие книги и, конечно же, не пропускал ни одного мало-мальски значительного шахматного события.

Когда я узнал, что в чемпионате примет участие сам Бронштейн, решил для себя, что не пропущу ни одного тура, чтобы сполна насладиться игрой своего кумира. Каждый раз, в дни тура я спешил после работы в Олимпийский и занимал место среди немногочисленных болельщиков. Кумир играл неблестяще. Было видно, что он не очень выкладывается, мало думает над ходами и быстро соглашается на ничью.

Да и вообще, как-то не расположен к острой бескомпромиссной игре. Словом, не то, что в прежние времена. И вот однажды, когда я только что пришел в зал и занял место, произошло событие невероятное.

Бронштейн, сделав ход, элегантно, как умел это делать только он, переключил шахматные часы, легкой походкой спустился по лестнице со сцены и направился в нашу сторону. Более того, он подошел к ряду, где сидел я, опустился в соседнее кресло и, обращаясь к моему соседу, стал энергично жестикулировать и что-то эмоционально говорить. Было видно, что он продолжил прерванный недавно разговор. Я опешил от обуреваемых меня чувств.

Одно дело, – смотреть на великого шахматиста из зала, когда он на сцене, за шахматной доской, молча творит свое чудо; и другое – находиться в такой непосредственной близости от него. Когда партнер сделал ход, гроссмейстер легко поднялся с кресла и устремился на сцену. Впрочем, через ка-

кое-то время он вернулся. И это повторилось несколько раз. Сначала я молча слушал его, не веря в происходящее, а потом, видя, что он, страстно ведя свой монолог, посматривает и на меня, как бы приглашая в разговор, осмелился и сказал: “Давид Ионович, Ваш ход”.

Я сейчас, разумеется, не помню, о чем он говорил. Конечно же, вероятно, о своих многочисленных шахматных идеях. Реализованных и нереализованных. А, может быть, о претензиях к власти предрежающим шахматного мира, которые во все времена ведут себя не совсем так, как бы хотелось. Но чувство, которое я тогда испытал, до сих пор сладко томится в сердце. А соседа успел тогда спросить откуда он, мол, так близко знает гроссмейстера. “Да, давно уже... Он в нашем посольстве сеанс одновременной игры давал” – ответил тот.

До конца первенства я регулярно ходил в Олимпийский, но его больше не встретил. А Давид Ионович благополучно переключился на меня».

Так завязалась эта дружба. Слово «дружба», конечно, не совсем точное: если одним владела безграничное восхищение своим шахматным кумиром, для другого – он стал полигоном для регулярного обстрела многочисленными идеями (и не только шахматными).

«Был ли я его другом? – переспрашивает Иванов. – Так вопрос никогда не ставился. Валерий Сергеевич, – сказал Бронштейн однажды, – вот были бы вы мастером, назначил бы вас моим секундантом». «Достаточно, что я у вас, Давид Ионович, в оруженосцах состою...»

Всю жизнь Дэвик подпитывался энергией от бескорыстных поклонников игры, их обожания, преклонения. Для них Бронштейн был БРОНШТЕЙНОМ, и по-настоящему он мог функционировать только в обществе таких людей.

Когда он жил в Испании, Иванов по доверенности занимался приватизацией его квартиры. Потом помогал оформить пенсию. «Один он никуда не ходил, робел перед чиновниками», – говорит Сергей Иванович.

Рискну добавить: он робел перед каждым человеком, если тот не знал, что перед ним знаменитый шахматист. В каждодневной жизни он был неприспособлен и зачастую беспомощен: он не мог проглотить обыкновенную таблетку, и жена всегда толкла ее, как это делают для совсем малых детей. Том Фюрстенберг вспоминает, что собраться в дорогу, сложить чемодан, было для Дэвика задачей неимоверной трудности, не дававшейся ему без посторонней помощи.

Валерий Сергеевич Иванов был не только реципиентом многочисленных идей и теорий Бронштейна, но и его незаменимым помощником в быту: «Сколько специалистов я доставлял к нему за все годы! Несть им числа. И электриков, и книжные полки из магазина привезти, и на кухне смеситель воды типа “ёлочка” поставить, и шторы на окна повесить, и унитаз отрегулировать и к полу привернуть.

И все специалисты, как на подбор, шахматисты. Эти акции были, конечно же, для всех праздником. Но однажды понадобился телефонист.

И я привез несмышленного. В смысле этикета. Да еще и не шахматиста. Так что, кто такой Бронштейн, во что он играет, его не волновало, или как сейчас говорят, “не колыхало”.

Когда работа подходила к концу, он стал понимать, и кто перед ним, и что, самое главное, – не деньги здесь правят бал. Он не на шутку заволновался:

– А он мне заплатит? А он мне заплатит?

– Ну, конечно, – успокоил я его.

– А сколько?

– Завтра ко мне зайдешь, увидишь.

А Давид Ионович, входя в комнату, спросил:

– Что, что он сказал? О чем вы говорите?

В общем, расплатился я. Спиртом.

Когда кто-нибудь что-то мастерил по дому, Давид Ионович всегда стремился принимать в этом непосредственное участие довольно таки своеобразным способом – он просто-напросто заговаривал мастеров.

И стремился туда, где и одному-то невозможно было развернуться. В туалет, например. Ребята были деликатнейши-

ми людьми. Они не могли заниматься чем-то, когда говорит гроссмейстер. Они просто прекращали работу, отложив инструмент в сторону, и слушали.

Процесс починки или установки затягивался. Я приходил на помощь:

– Давид Ионович, ну вы же мешаете!.. Тут дела посерьезнее каких-то там ваших шахмат... Потом поговорим.

– Да, да... Я понимаю. Исчезаю... Михаил Кузьмич, как же это у вас так ловко всё получается! Какую это надо иметь голову?! Какой шахматист мог бы из вас получиться!

– Да, вот не получился, Давид Ионович...

Работа продолжалась до того момента, пока Давид Ионович не вспоминал что-нибудь очередное интересное из своей богатой шахматной биографии, и не приходил оповестить об этом.

Ну, разве можно было найти на него управу!»

25.8.1999.

«Вы, Г., прямо из Амстердама звоните? Вы не понимаете, это ведь как звонок с другой планеты. Если вы об интервью, я интервью вообще не даю, но поговорить о жизни – можно, это другое дело – поговорить о жизни...

Вы понимаете, у меня не тот имидж, который мне создали журналисты. Я – не тот человек. Я – другой. Понимаете, я играл в шахматы еще до войны, а то, что я вижу сейчас – просто смешно. Вы думаете, что Алехин и ваш Эйве играли в те же шахматы, что и сейчас? Смешно!

Помню, ребенком переигрывал их партии на карманных шахматах, разбирал... Тогда шахматы были частью культуры, искусством. Такие шахматы ушли навсегда. Шахматы, которые я любил, их нет больше, вы понимаете? Вот у меня спрашивают в последнее время, не разочаровался ли я в шахматах. Я вам скажу, что я ими особенно никогда и не восторгался.

Начал ли бы я играть в шахматы сейчас, если бы у меня был выбор? Нет, никогда. Для меня это было совсем другое – я играл, импровизировал... А что сейчас? Я всегда ста-

рался вдохнуть жизнь в свои фигуры, иногда в трудные минуты просил у них помощи, и они часто платили мне взаимностью... Теперь молодые думают, что играют лучше. Да нет, они просто играют как волчата. В деньги. В гонорары. Вот вы на Олимпиаду в Элисту, я слышал, не поехали. А другие? Сбежались, как бобики, за подачкой...

Ну, а если на то пошло, я вам откровенно скажу: наше поколение было талантливее нынешнего, эти теперешние звезды думают, что они представляют из себя нечто необыкновенное. Почему? Только потому, что они передвигают пешку на одно поле лучше, чем это делает большинство. Так они думают? Да их просто занесло. Они все утратили ощущение реальности, просто заболели манией величия, полагают, что должны получать супергонорары, жить в суперотелях, вести супержизнь. Это они с Фишера, что ли, пример берут?

А Дворецкий – что? Ну как он учит играть в шахматы? Рассаживает своих учеников как собачек и одна – гав, другая – гав-гав, третья – гав-гав-гав. Разве это шахматы?

Шахматы надо оставить только в форме театра. А то не стыдно им в начале третьего тысячелетия точно так же выводить слона на с4, как это делали еще Андерсен и Морфи? Вы же знаете, я пенсию 50 долларов получаю, но вы не пишите об этом, не пишите.

А помните нашу партию в Гастингсе в 75-м году? Голландская была, вничью мы сыграли, вы у меня еще спросили после партии удивленно, – неужели голландскую можно играть? Голландскую, где черные поля так ослабляются уже в дебюте, помните?

А то возьмите Каспарова, он ведь только один вариант играет, а я ведь всё играл, всё. Всё перепробовал. Поймите, у меня с детства была абсолютная схватываемость позиции. Понимание абсолютное. Абсолютное! Как абсолютный слух у музыканта. Поэтому я и блиц так хорошо играл, и двухминутки. Потому что позицию сразу видел...

Шахматы, конечно, игра с конечным результатом. Я сейчас учебник по Го читаю, – вы в Го играть умеете? Значит,

поймете, что я имею в виду: Го ведь игра неисчерпаемая. Можете сказать такое о шахматах? Поймите, я не хочу ругать молодых, они играют как могут, но разве это матч на звание чемпиона мира: Акопян – Халифман?

...Никому не говорил, а вам скажу, вы поймете. Вот у меня тридцать ящиков архива, книги, рукописи, черновики, а на антресолях еще сколько всего.

Талант в шахматах особенный не нужен, а интеллект вреден. Вреден! Шахматы создают иллюзию причастности к высокому интеллекту. Набоков был интеллектуалом и считал, что раз он составляет шахматные задачи, то умнее всех прочих. Чепуха какая-то! Память, способность воспроизвести вариант – вот что нужно! И всё!

Вы читали мое интервью в «Огоньке»? Я там всё подробно сказал... Футбол – игра на порядок выше по интеллекту, чем шахматы! Ведь в футболе в любой момент ситуация меняется, и план соответственно, а в шахматах что? Выбрал Бенони, например, и всё. Готово. Приговорен к определенной структуре, должен следовать известному плану, шахматист становится заложником своего выбора. А я хочу, чтобы меня ценили за фантазию, за оригинальные решения, а не за умение разыгрывать дебют или стандартную позицию.

Интеллект противится таким примитивным в сущности принципам шахмат, как выигрыш времени и пространства. Поверьте мне, я знаю, что говорю. Возьмите матч Ласкера со Шлехтером. Ходы Ласкера казались нам таинственными, все эти маневры ладьями “Как тонко!” – говорили нам. А если честно, то всё очень примитивно. Очень!

С детских лет я с уважением относился к любым проявлениям человеческого ума, к творениям рук человеческих. Потому никогда не думал, что шахматы нечто особенное, необыкновенное. Меня интересовала жизнь во всем ее многообразии. Жизнь. Жизнь прошла зря. Зря. Ведь я потому не стал чемпионом мира, что мне было стыдно перед моим поколением. Судьба мне оставила жизнь. И для чего, для того, чтобы я натянул на себя корону?

И к чему вообще всё это чемпионство? Придумал кто-то... Я понимаю, что кто-то выиграл турнир, его поздравили, подняли за него тост, но звания-то к чему? А ФИДЕ – что? Они должны были вместо празднования 70-летия ФИДЕ в Париже собраться там и самораспуститься!

Я сейчас разбираю всё. Рукописи. Журналы, бюллетени. Вот недавно на голландский шахматный журнал наткнулся, хотите, я вам его подарю, когда вы в Москве будет? А когда вы собираетесь? Нет, ничего не нужно. Ну, разве сыра голловку... Ну, коньяк французский всегда пригодится...»

27.9.1999

«...ведь я после турнира межзонального в Амстердаме в 1964 году всё как на духу сказал, выступил с резкой критикой Ботвинника и всей его системы отбора. И как меня долбали за это потом на федерации! Как Батурицкий слюной брызгал: “Как вы, советский человек, могли за границей высказывать свое собственное мнение?” И на Константинопольского кричал: “А вы, вы-то куда глядели?”

А когда Ботвинника на какой-то лекции в Югославии спросили – вот Бронштейн что-то там предлагает по части первенства мира – так он даже не дал договорить: “То что предлагает Бронштейн, вообще всерьез нельзя рассматривать”. Мне это Милунка Лазаревич потом рассказывала...

Я видел Ботвинника в последний раз в Риме в феврале 1990 года. Мы сидели в одном ресторане, хоть и за разными столами. До меня донеслась его фраза – “то, что сейчас происходит в России, это возврат к капитализму”. Да, именно так он и сказал.

Да нет, ничего не нужно. Давление у меня высокое. Нет, не наследственное, это всё от шахмат, конечно...»

24.3.2000. «Вы в Киев собираетесь? Давно я уже не был в Киеве. Школа моя была – на Короленко. Сидел я за партой и смотрел на Андреевскую церковь, а шахматный клуб был на пересечении Пушкинской и Ленина, не знаю, как уж они сейчас называются.

...Вы отказались от игры в чемпионате страны? Кем заменили? Да, наверное, компьютером заменили... Ну, вот видите, как я догадался. Действительно компьютером? Скоро нас всех компьютером заменят.

Кто, кто может это представить сейчас? Всю гигантскую шахматную армию, весь этот многоступенчатый механизм? И не только игроков, но и всех этих организаторов, судей, демонстраторов, турнирных врачей, персонала?

Нет, не случайно Ласкер и Капабланка так любили бывать в СССР. А все эти многотысячные толпы и конная милиция, интервью в газетах, восторженные почитатели? А в Европе всё держалось на энтузиастах-одиночках, в лучших случаях турниры посещали несколько десятков любителей, чаще элитного слоя общества. Раньше шахматами увлекались люди, имевшие свободное время и определенную культуру. Да и после войны: ну, Вейк-ан-Зее, ну, Гастингс... А у нас – первенства СССР, огромные залы, сверкающие люстры, толпы народа!

Вижу себя на этой сцене, с Кересом играю, а над сценой гигантский транспарант натянут – “Привет советским физкультурникам!” И Сталина портрет огромный, – вы представляете себе? Я же за страну свою отвечал. А тогда ведь никаких компьютеров не было, а я гарантии должен был давать, что турнир выиграю. Ведь тогда на любом заграничном турнире от советских участников требовалась только победа. За выигранный турнир пятьсот рублей давали, за выигрыш Олимпиады – полторы тысячи. Большие деньги были тогда. Но главное было – первое место. Победа. В 52-м в Ливерпуле, куда нас с Таймановым на студенческий чемпионат послали, гроссмейстеров вообще не было. Тайманов к тому времени уже консерваторию закончил, а я вообще нигде не учился, но по возрасту мы подходили. Так нам командировку сам Сталин подписал. А перед отъездом один из секретарей ЦК напутствовал, поездка-то в капиталистическую страну была. А вы понимаете, кто в Ливерпуль приехал, с кем мы играть должны были? Со студентами-любителями, на летние каникулы для развле-

чения шахматные фигуры подвигать приехавшими. Это же бред был какой-то, бред... Это был сумасшедший мир, кто теперь это может понять...

Флор? А что Флор? Он ведь в Швеции в 48-м году руководителем делегации был и кричал на меня, чтобы я партию проиграл, да что сейчас вспоминать об этом, но кричал, кричал Флор. Да, было... Флор писал во многие газеты, поверьте мне, он ведь жил совсем неплохо. Он приоткрывал занавеску в другую комнату, в другой мир, который никто из любителей не видел, поэтому так всем нравился, а он знал это превосходно и пользовался этим. Флор и Лилиенталь сознательно ломали русский язык, потому что это было им выгодно. Техникой игры Флор обладал блестящей, слов нет, но был ли выдающимся игроком? Я не понимаю, что значит это слово. Он просто сообразил, что это простая игра, элементарная. Э-ле-мен-тарная!

..жизнь мне была подарена: я должен был погибнуть в войну, как погибли многие из моего класса. А может, мне надо было остаться тогда в Сталинграде? Или нет, не надо было мне уезжать из Тбилиси, не надо было делать этого тогда в 42-м, тогда и жизнь вся сложилась бы по-другому. Да никого не вижу сейчас, у меня, поймите нет друзей, я совсем один. Что целыми днями делаю? Я умирать собираюсь, умирать. Да, я к смерти готовлюсь. Вот что я делаю...»

Он замолкал, но уже через мгновение говорил о совсем земном, саркастически звучал голос, снова всплывал Ботвинник, и, сменяя друг друга, шли густым потоком имена Морфи, Абакумова, Эйве, Постникова, Вайнштейна, Кереса, Батурина, Фишера, Капабланки, Алехина, Таля и снова Ботвинника.

Лучился взгляд из под кустистых бровей, улыбка блуждала по лицу; нередко он спрашивал: «Так ведь?» и, не дожидаясь ответа, шел дальше по одному лишь ему ведомому азимуту. Большую часть времени я просто слушал его, хотя признаю, что и это было задачей невероятной трудности.

24.7.2000

«В Москве мне помог Вайнштейн, я и жил у него некоторое время, потом в гостиницах, а в январе 1950 года получил я маленькую квартиру от “Динамо”. Конечно, у меня и формы не было, и присягу я не давал, просто играл за “Динамо”.

Московский совет возглавлял генерал-лейтенант Яков Мильштейн, большой любитель спорта, и я ходил к нему, отцу пытался помочь. Как мне уж ни предлагали остаться на сверхсрочную, но я не хотел становиться офицером МВД. Даже на бумаге – не хотел... А от еврейства своего страдал не меньше чем другие, но у меня ведь еще отец сидел. Думаю, что я за “Динамо” играл, уравнивало это в какой-то мере.

А знаете, почему Ботвинник соглашался только весной матчи на мировое первенство играть? Не знаете? Так вот я скажу: тогда же у всех его соперников организм ослаблен был, все же от авитаминоза страдали, вот почему...

Ведь когда Рогард меня перед матчем просил согласиться на требования Ботвинника, я уступал. Ведь всё под него делалось. Всё. Мы сначала в другом зале должны были матч играть, но Ботвинник почему-то настоял на зале Чайковского. В другом – пожарные лестницы ему не понравились: ведь Бронштейн член общества “Динамо”, так ему пожарные по лестницам записки с правильными ходами могут передавать...

Время игры тоже выбирал Ботвинник. Меня даже никто и не спрашивал. Рогард говорил: мы устанавливаем правила, которые как минимум полвека будут действовать. А когда я после межзонального турнира в Амстердаме в 64-м году сказал: “Господин Рогард, вы же говорили, что правила устанавливаются на пятьдесят лет, а сейчас Ботвинник меняет их каждый год”, – так тому и ответить было нечего.

...ну почему, почему журналисты всё время пристают ко мне – отчего тогда матча не выиграл, чемпионом мира не стал? Как будто я ничего другого не сделал в шахматах, кроме того, что вничью матч на мировое первенство сыграл. Не хотел – и не выиграл...

Как тот английский джентльмен в Лондоне, знаете? Двадцать пять лет подряд он каждую пятницу одним и тем же поездом приезжал к друзьям за город, чтобы провести у них уик-энд. Однажды не приехал. Друзья решили: что-то случилось, может, заболел. Врываются в его лондонскую квартиру и видят – тот сидит в кресле, укрывшись пледом и читает “Таймс”. “Билл, что случилось?” “Надоело”.

Так вот и мне надоело отвечать на их идиотские вопросы. Да мне просто стыдно было перед моим поколением, они ведь почти все в войну погибли. Мне судьба жизнь оставила, а для чего? Чтобы я объявил, что я лучше всех?.. Я нервничаю, нервничаю сейчас, потому что вы диктофон поставили. Давайте выключим его.

А я вам скажу, что я рад, что мой портрет не находится в этом ряду. Это что-то застывшее – чемпион мира, этот ряд фотографий напоминает мне тюрьму. Я всегда шел своей дорогой. Поэтому я ненавижу все эти энциклопедии, в которых можно найти только даты рождения, смерти и результаты. Как будто только это и определяет шахматиста...»

21.7.2001

«...У меня к вам два вопроса: первый – вот у вас недавно в “New in Chess” интервью с Корчным было напечатано, где он говорит о том, чего совершенно не знает. Что он думает – если его не пускали в турниры, он единственный, кто это пережил? А меня пускали? Он думает, что если сбежал из Советского Союза, то сразу стал героем, так он думает?

Что если за границу уехал, то может говорить, что ему в голову взбредет? О том, что в начале 50-х годов было письмо известных советских евреев, что они добровольно к Северному полюсу поедут и все подписали, кроме Ботвинника. Корчной очень легко судит о том, чего не знает, о 53-м годе, легко как-то обо всем судит... И почему он говорит, что Ботвинник отказался подписывать письмо во время “процесса врачей”, а я подписал? Оттого что я находился, якобы, в более трудной ситуации. Вот уж действительно, слышал звон, а не знает, где он. В то время Корчной был просто цы-

пленок. Он чепуху мелет, чепуху... Что я был известным евреем, полнейшая чепуха. Я себя таковым не считал в любом случае...

И второе – вот была у вас в “New in Chess” статья о королевском гамбите, вы там кое-кого забыли. Ну и что, что вы о современной трактовке дебюта писали, я ведь восемьдесят партий сыграл королевским гамбитом на высшем уровне, я ведь столько сделал в шахматах, а теперь молодые думают, что я только этот злосчастный матч с Ботвинником сыграл, ведь так молодые думают?.. Помню, как на сцене играли мы с Ботвинником, так у него было написано – чемпион мира – а у меня просто фамилия. Фамилия – и всё.

Вот Каспаров в партии с компьютером g4 пошел, а я ведь так еще с Геллером в 1953 году в Цюрихе играл, так тот не решился пешку взять... А что Каспаров говорил после того, как чемпионом мира стал? Что шахматы вышли на новый уровень, а до войны шахматы были просто детским садом. Он забывает, что сейчас применяют идеи и варианты, которые мы разработали и ввели в турнирную практику, когда его еще на свете не было. Мне не за себя, мне за шахматы обидно...

Мне и в голову тогда не приходило, что я веду борьбу за вечный титул экс-чемпиона мира и что одним ходом теряю сразу два звания – чемпиона и экс-чемпиона. Подумайте, какой-то ход конем, и история шахмат пошла бы по другому пути.

...Каспаров, да и все остальные пишут: хитрый Дэвик, хитроумный Дэвик. Никто никогда не назвал меня сильным игроком. Всегда только коварный, хитроумный. А выиграл бы я тогда у Ботвинника, меня бы не хитрым Дэвиком называли, а Давидом Седьмым. Стал бы седьмым чемпионом мира. Так бы и вошел в историю – Давид Седьмой!

...у меня к Ботвиннику тысяча претензий. Он 25 лет был вице-президентом общества “СССР–Голландия”, а для шахмат ничего не сделал. Однажды позвонил мне по телефону: “Хорошо, если бы вы приняли Доннера его жену и сына, тот в Москву с семьей собирается”. Отвечаю: “Я бы с удоволь-

ствием, да как я могу его принять, когда у меня две комнаты – 17 и 7 метров, где?” А Ботвинник как будто и не слышит: ” Ну почему вы его принять не можете, вот он у вас поживет, а вы потом к нему в Голландию поедете...”

4.9.2001

Я снова Москве, снова встретился с ним у «Кропотинской». Он еще больше постарел, сгорбился, усохся. Кепочка. Но еще живой лукавый взгляд выцветших глаз за толстыми стеклами очков, и походка семенящая, частая.

«Вам в Клуб нужно зайти? Ну хорошо, провожу вас. Когда я был там в последний раз? Вот полтора года назад с вами и был».

Чешский мастер Михал Конопка учился в восьмидесятих годах в Москве. Он вспоминает, что регулярно бывая в ЦШК на Гоголевском, никогда не видел там Давида Бронштейна, жившего в пяти минутах ходьбы отсюда. Видел Полукаевского, Геллера, Петросяна, многих других гроссмейстеров, но Бронштейна – никогда.

«За коньяк – спасибо, я ведь, знаете, ничего спиртного больше не покупаю, ведь у нас могут плеснуть всё что угодно, а потом напишут – французский, испанский. У нас всё могут...

А Ботвинник должен был дать мне реванш, просто обязан был дать мне реванш. Хотя я рад даже, что не вишу в этой галерее в шахматном клубе, поймите, это же пол-очка, всего пол-очка. И всё могло быть по-другому. И шахматная история, и всё. У нас ведь с Ботвинником были совершенно разные точки зрения на шахматы, да и люди мы были совсем разные...

А знаете, как на матче СССР – США в Москве Решевский подошел к Хрущеву и попросил помочь провести его матч с Ботвинником. Хрущев ему обещал, потом американцы уехали, и делом занялся Спорткомитет. Запросили федерацию. Ботвинник играть испугался. Предложили мне, дело завертелось, меня вызвали наверх и сказали – подпиши бумагу,

что обязательно этот матч выиграешь. Я – ну как я могу такую бумагу подписывать, это ведь игра, всё может случиться. А мне – не подпишешь, вообще матча не будет. Короче, подписал я, начались переговоры, договорились играть 12 партий в Союзе, 12 в Америке. Решили начать осенью 56-го года, но тут венгерские события начались и всё смешали...»

У дверей Клуба, замечая у меня фотоаппарат: «Нет, нет, никаких фото». Фотографироваться любил, хотя для начала всегда отнекивался. Так и тогда, сняв очки, спросил: «Думаете, лучше там стать? Так хорошо? Попадаю в кадр?» Провел расческой по голове, перед тем как я щелкнул фотоаппаратом. «Получилось? Вы уверены, что получилось?..»

Стыдясь ранней лысины, носил шапочку, потом бейсбольную кепку или берет. Но на добродушные шутки не обижался и сам смеялся, когда коллеги подарили ему в Цюрихе в 1953 году новинку – «гарантированное патентованное средство для ращения волос».

В 1975 году на зональный турнир в Вильнюс Бронштейн приехал с молодым мастером Анатолием Королевым, только что назначенным старшим тренером «Динамо». Понятно, что Бронштейну нужен был не секундант, а свежий человек, которому он мог бы отвести душу.

Королев вспоминал, что они действительно почти не проводили время за шахматами, зато много гуляли и разговаривали. Литва была тогда для столичных жителей «малой заграницей», и даже вильнюсские бары были для них в диковинку. Однажды Бронштейн во время прогулки предложил Королеву зайти в один из них. Заказ Дэвика был оригинален: тридцать граммов коньяка молодому человеку и двадцать себе. «Для начала», – подумал еще было Королев и поднял рюмку ожидая тоста. Давид Ионович аккуратно перелил коньяк в сложенную лодочкой ладонь и энергично растер им не обремененную шевелюрой макушкой. «Пейте, Толя, и пойдем», – сказал мэтр озадаченному секунданту, и под недоуменные взгляды посетителей бара странная парочка удалилась...

Вспомнилось: Тилбург. Турнир Интерполис. 1993 год. Через несколько минут начало тура, и фотографы в игровой зоне уже наводят на гроссмейстеров свои камеры. Бронштейн занимает место за столиком, проводит расческой по голове, снимает очки. Вспышки магния, толкотня у столиков.

Но что это? Весь ажиотаж – за его спиной, где играют Смыслов и Геллер. И вот он сидит в одиночестве, совсем покиший, и голова ушла в плечи, и никто не подходит к нему.

Звучит гонг, фотографы делают последние снимки, судья Гийсен уже машет на них руками, и он всё понимает. Он надевает очки и медленно передвигает королевскую пешку на два поля...

Вошли в Клуб. Зал, на стене которого висят фотографии чемпионов мира. Остановились. Стал молча смотреть на них. Молчал и я. Однажды в Бельгии, где Бронштейн играл за какой-то клуб, остановившись перед стендом с фотографиями чемпионов, долго вглядывался в них, переводя взор с одного на другого. Потом, вздохнув, сказал Фюрстенбергу: «Я тоже мог бы висеть в этом ряду...»

Музей Клуба. Картины, литографии. Вымпелы, кубки, афиши. Шахматы разных времен, сделанные из дерева, фарфора, слоновой кости, металла, барельефы. Шахматный стол, за которым игрались матчи Карпова и Каспарова, с двумя красными флажками с серпом и молотом.

Бронштейн останавливается у кубка, полученного за победу в радио-матче СССР – США, состоявшемся в сентябре 1945 года. Наши шахматисты разгромили тогда американцев 15,5:4,5 и удостоились похвалы самого Сталина. Молодой Дэвик Бронштейн принимал участие в том матче и дважды легко выиграл у Сантазьера. Партии начинались тогда в пять вечера по московскому времени и заканчивались глубокой ночью.

Снова делаю его снимки. Говорит, что не нравится самому себе на фотографиях. Снова причесывается. «Так лучше? Или так...? Подождите секундочку, я очки снимаю».

В киоске вестибюля рассматривает только что вышедшую книгу «Матч Ботвинник – Бронштейн 1951 года», комментарии Ботвинника. «Вы посмотрите, что он пишет! ЧТО он пишет об этой позиции!..»

4.2.2002

Позвонил мне в гостиницу «Россия»: «Вот видите, я вам в гостиницу позвонил, а ведь нас сейчас прослушивают почти наверняка, вы ведь иностранец, а я, видите, не побоялся позвонить, да и говорю с вами совершенно откровенно. Не боюсь. Ну как здоровье, давление у меня очень высокое, мне жена по три раза в день меряет. Вот в честь 75-летия моего организовали турнир на Гавайских островах, но я не поехал, шумихи этой не люблю, вы понимаете, я ведь известный человек, меня здесь все знают, они там просто не понимают моей популярности здесь.

...Авербах подошел ко мне как-то и спросил, правда ли, что я в Израиль уезжаю. А кто тебе сказал, спрашиваю. Тихомирова, Суэтин сказали. А у меня и в мыслях такого не было.

Это всё Батурицкий провоцировал меня на отъезд. Скотина такая. «При ваших нынешних успехах, – говорил Батурицкий, – вам полагается только один зарубежный турнир в год». А я каждый год, знаю точно, получал несколько личных приглашений на турниры, но меня никто не посылал и не говорил даже об этом. Он же тогда сам распускал слухи обо всех уезжающих или о тех, кто может решиться на этот шаг, чтобы потом сказать – а я что говорил. Было это в феврале 78-го года.

Кстати, о феврале. Знаете, у меня есть идея проводить турнир всех февральских, в феврале родившихся, потом мартовских, потом апрельских, ну а потом – общий – всех победителей. Как вам идея? Будь у вас больше времени, я бы вам еще не то рассказал. А как вам это нравится: проводить чемпионаты в разных возрастных категориях – не только как сейчас до 20 лет, но и от 20 до 30, потом от 30 до 40 и так далее. Или играть в шахматы без слонов. Или без

коней. У меня масса идей, я ведь весь набит информацией, об идеях я уже не говорю...

А какие идеи были у Ботвинника? Вы что думаете, что я не видел, что нельзя пешку выигрывать и давать белым двух слонов в 23-й партии, вы думаете я не видел? А анализ? Это они мне задурили голову, секунданты мои. Голову задурили... Я от них никакой поддержки не имел, они мне просто завидовали. Фурман за анализом просто говорил: – ходи! А когда мы обсуждали, какой вариант избрать, так всегда на своем настаивал. Ему играть хотелось, вот он и говорил: ходи!

А Константинопольский требовал, чтобы я на преимущество в дебюте играл. А мне не преимущество нужно было, мне свои позиции получать надо было. А Болеславский, тот вообще норовил при первой возможности домой в Минск уехать...

Только Борис Самойлович верил в меня. А они отодвинули Вайнштейна, они сами хотели быть на первых ролях. Поймите, я с вами сейчас очень откровенно говорю. Ботвинник ведь условием поставил, чтобы секундантом был кто угодно, только не Вайнштейн, очень уж он не любил его. Считал, что тот выступал против него, когда он сам к чемпионскому званию рвался. Но если бы Борис Самойлович сказал, что надо настаивать, чтобы он моим секундантом был, то я и настаивал бы, но он как-то самоотстранился, добровольно со сцены ушел...»

23.4.2002

«...я вот братьями Райт восхищаюсь. Они первыми поднялись в воздух, создали современное воздухоплавание – вы вот сейчас в Амстердаме идете и спокойно покупаете билет на самолет и через час вы в Лондоне. Меньше даже? Ну, вот видите. Конечно, у вас в Голландии поездка за границу это вопрос только покупки билета, а у нас – если бы вы только знали, как в очередях настоишься за визами, с паспортом какие проблемы...

Все сайты и шахматные издания продолжают тихий саботаж, не публикуют времени, затраченного на обдумыва-

ние. Получаются “слепые партии”. Я занимаюсь шахматами уже полвека и всё больше склоняюсь к мысли, что это происходит не только из-за чьей-то лени, но сознательно, чтобы люди не могли научиться...

Поймите, это же элементарная игра. Простая настольная игра. Очень простая. Всё дело в том, кто захватит пространство в центре. Да, шестнадцать центральных клеток. Вы же сами играете по центру, вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому профессионал – тот, кто захватывает это пространство, а любитель – тот, кто это пространство захватить не может. Вот и всё. Проще пареной репы. Надо просто овладеть стандартными позициями, а их не так уж много. Стандартные позиции научиться разыгрывать... Научиться перетягивать канат в свою сторону. Что, в сущности, шахматы? Шестидесят четыре квадрата. Бело-черных. Я вот прочел где-то, что квадраты раньше одного цвета были, так оно и лучше было. Игра на пианино, где тоже на черном и белом играют, много труднее шахмат...

Что же удивительного, что мальчики уже в десять лет всё знают о шахматах, а в двенадцать гроссмейстерами становятся, поймите, это ведь простая игра, очень простая... Сейчас в двенадцать лет мальчику дают звание гроссмейстера. Финальное звание. А что он получит в двадцать? В тридцать? Вы же помните, я еще в Гастингсе вам говорил: выполнил пятнадцать раз гроссмейстерскую норму – получи бронзового коня, тридцать раз – серебряную ладью, пятьдесят – золотого ферзя.

...конечно, шахматы отрицательные эмоции вызывают, что и говорить. Шахматы для души нагрузка немалая и небезопасная и недобрые эмоции вызывающая... Я сотни раз в моей практике на ничью в лучшей позиции соглашался, потому что не хотел, чтобы на меня так смотрели. Когда ловил этот взгляд со злостью, с неприязнью на тебя направленный...»

14,15,17.6.2004

Во время матча сборной Армении со сборной остального мира встречался с ним едва ли не каждый день. У него дома,

или когда он приходил в гостиницу «Арабат Парк Хаятт», где игрался матч.

«Я – жертва, жертва системы, я жертва 37-го года. Жизнь моя искалечена, искалечена. Только вам говорю. Вы же понимаете. Я не хотел, я не мог выигрывать тогда в 51-м году, я ведь за жизнь свою боролся... Но я действительно не понимал значения чемпионского титула. Я считал себя лишь одним из немногих. Я был молод и чувствовал какую-то неправомерность, что ли. Я же не подходил для титула чемпиона мира, и вообще кто я такой: комсомольцем не был, в партии не состою, отец сидел, жить – негде, с женой развожусь. Кто я такой? Я не считал, что играю сильнее Ботвинника, только интереснее его. И не считал, что играю сильнее Кереса. Я чувствовал, что это будет несправедливо. Несправедливо. И по отношению к Болеславскому тоже. Он дал мне возможность догнать его в Будапеште, и вот использовать этот шанс, чтобы натянуть на себя корону? Мне казалось, что я предаю друга. Время тогда было другое, теперь это трудно понять, вам сколько лет было в 51 году?

...хотя, кто знает, что лучше. Может быть лучше бы я стал сапожником. Наверное, не будь революции, был бы я хорошим сапожником в каком-нибудь местечке...

Я вам завидую, вы можете писать всё что думаете, вы же в Амстердаме живете, в другой Галактике, мы же с вами в разных цивилизациях находимся. Вы можете позволить себе так писать. Хорошо вы, Г., пишете о шахматах, но красиво, слишком красиво, шахматы этого не заслуживают, не заслуживают. Ведь это только маленькие фигурки в безвоздушном пространстве, маленькие фигурки. Я вашу книгу двадцать раз перечитывал. Они думают, что вы о ком-то написали, о людях шахмат, но я-то понимаю: вы о себе написали, свой взгляд на жизнь показываете, свою эрудицию.

Вот я прочел сегодня, что вы о Багирове написали, об игре в старости в открытых турнирах. Кто-то там у вас говорит, что шахматы после шестидесяти надо запретить? А после пятидесяти? А после сорока? Я же через всё это сам прошел, если бы вы видели, как молодые со стариками обра-

щаются, я не только о себе говорю, я же на примере других видел. Карьера шахматиста длится сегодня в среднем десять лет, может быть, чуть дольше. За это время можно получить два высших образования. Стать врачом или кем угодно, а молодые думают, что они как играют сейчас, так всегда и будут играть. Наивные!

Вот посмотрите сейчас Гельфанд с Бакро эндшпиль играют – ладья и слон против ладьи. Вы знаете, как я такой эндшпиль Смыслову проиграл в 49-м году? Хотите расскажу как дело было?

На сцене только мы со Смысловым остались, все ушли уже давно, а Вадим Синявский собирается в спортивный выпуск последних известий передавать, что партия вничью закончилась. Я ему – да подождите, не спешите, я еще зевну что-нибудь. И действительно просмотрел какую-то детскую вещь, самому смешно стало. Я ведь еще за месяц до турнира лекцию читал и сам указал, как проще всего в этой позиции ничью делать. Мне не повезло в жизни, конечно. Мне следовало бы родиться, как Фишер, в Америке... Всё, что я делаю сейчас, это чтение и мысли. Я вспоминаю. Вспоминаю прошлое. И рву, сжигаю всё сейчас, документы, выписки, бланки партий, всё.

...Капабланка был, конечно, жулик. Он прекрасно знал, что шахматы – игра элементарная, очень простая. Ведь как он играл: менял одну ладью, чтобы знать, какую поставить на открытую линию, потом менял одного слона, чтобы было ясно на какую структуру играть, затем менял пару коней, чтобы не было сомнений, какого поставить на е5. И после этого начинал играть. Играл он, конечно, хорошо, но поймите, это же простая игра, может быть, и мудрая, но где-то и элементарная, и он это превосходно понимал. Я вот недавно переигрывал его партии. Скучнейшие! Нудные до невероятия. Капабланка отрабатывал технику и автоматизм в пору своего студенчества в Манхеттенском шахматном клубе. Играл блиц целыми днями и технику отрабатывал, да и позиции наигрывал. Как вы думаете, откуда у Капабланки такая популярность? Что он такого сделал? Кубинец, экзотика, красавец, сеансы давал элегантно, вот и вбил всем в

голову, что он великий шахматист... Я видел его в 36-м году в Киеве во время сеанса одновременной игры, вернее, видел не его, а его спину, народу ведь было ужасно много, не протолкнуться, ведь култ Капабланки был создан невероятный. Нет, сам в сеансе с Капабланкой не играл, ведь против него выставили кандидатов в мастера, а мне было только двенадцать лет.

Другой 12-летний мальчик выиграл у Капабланки в сеансе в Ленинграде в 25-м году и понял, что шахматы – очень простая игра. А поняв это и победив Капабланку, только его впоследствии и восхвалял. Что? Не 12-летний, а 14-летний? Ну какая разница...

А Флор что? Прежде чем репортер из Праги знаменитым стал, он в европейских кафе школу блица прошел. Считали, что он блицу обязан еще больше чем Капабланка, хотя тот именно благодаря блицу и стал великим. Но, конечно, были у Капабланки и другие данные...

Теперь ведь получается, что тот, у кого здоровье крепче и память лучше, тот и выигрывает. А что мальчик в двенадцать лет становится гроссмейстером, только подтверждает мои слова. Он выучивает некий минимальный набор вариантов, и – готово. Талант в шахматах особый не нужен. Нужна память, способность воспроизвести вариант. И всё! Теперь ведь главное – очки и места. А что шахматисты в сущности делают? Переставляют пешку с одного поля на другое... Удивительно, что это нравится публике, а спонсоры платят деньги за это. Шахматистам ведь всё заранее известно, вот они и крутят эту пластинку. Идет соревнование в памяти и счетных способностей. И хорошего здоровья. За деньги. Вот что такое сейчас шахматы...

Но даже не это главное. А главное то, что всё, чем занимаются ведущие шахматисты, уже давно есть в специальной литературе. Ведь сколько мы играем в жизни партий? Ну, пять, десять... Вот я выиграл несколько партий в староиндийской. Так вот, всё это – только одна партия. Конечно, комбинации разные, варианты красивые, а партия – одна. Самое приятное – играть новые партии. И чтобы публике

было интересно. Вот я однажды пожертвовал ферзя Смыслову, знал, что жертва некорректна, но было так много народа в зале, что я хотел пожертвовать что-нибудь, чтобы доставить зрителям удовольствие...»

30.6.2004 «Вот обо мне говорят – оригинал, чудака такой, Каспаров пишет “хитроумный Дэвик”. Он не понимает, что так нельзя обо мне писать, нельзя. Он вообще слишком рано начал писать о своих предшественниках, слишком рано. Это от Ласкера пошло да от Капабланки. Когда Капабланка “Мою шахматную карьеру” писал, он ведь еще совсем молодым человеком был. Вот тут ко мне один любитель подошел, сказал, что выигрыш нашел в восемнадцатой партии матча с Ботвинником. Ход в ход – форсированный выигрыш. Компьютер нашел. Вот выиграл бы ту партию, и судьба шахмат по-другому сложилась бы, подул бы ветер перемен. Подумайте сами, если бы не то очко несчастное против Ботвинника, мое положение сейчас было бы совсем иным... Я в 1951 году не хотел выигрывать, я ведь жертва, жертва, и жизнь прожита зря. Вы понимаете, у меня похитили жизнь. Похитили...

Я вот сижу сейчас с приятелем одним и уничтожаю свой старый архив, записные книжки времен войны, бланки партий, старые фотографии – вы представляете сколько их у меня накопилось, а для истории понадобятся одна, от силы две, если история эта еще нужна будет кому-нибудь... Хотел бы я, чтобы в моем архиве такой порядок был как у Макса, у меня ведь всё разбросано, а у Эйве аккуратно было, всё по полочкам разложено, я сам видел... Знаю, что вы дружили с Эйве, но Макс, вы знаете, был и моим другом, хотя истина дороже – он не был ведь настоящим чемпионом мира...

Ах, Голландия, Голландия... Амстердам... Помню в 68-м году сидели мы вместе с Голдсмитом, президентом голландской федерации и Черняком в итальянском ресторане на Амстеле 20 – это еще до вас было. И рассказывал я им всё, что думаю о шахматном искусстве. Так мне потом передавали, что Голдсмит говорил, что никогда ничего подобного не слышал. Запомнил, значит... Хотел бы и я с вами в том

итальянском ресторанчике посидеть, по душам поговорить, а не так как сейчас – вы ведь для мемуаров меня спрашиваете, я ведь понимаю... А Витхауз как поживает? Он ведь тогда тоже на турнире был. Увидите – обязательно привет ему передавайте...

Я собираюсь в Минск уезжать, ну что же мне с библиотекой моей делать, да и с архивом? Подумайте, кому это сейчас интересно? Сжечь всё надо, сжечь. Ну что вы говорите, что цены нет. 100 тысяч долларов мне за нее никто не даст, а за три я продавать не хочу...

Я в обществе “Динамо” сорок лет состоял и защищал честь общества, а когда за границу посылали, я за страну отвечал. И обязан был взять первое место. Вот когда в 54-м в Белграде играл, меня в ЦК вызывали и беседу проводили – кровь из носа, первое место взять.

Отношений ведь тогда с Югославией фактически не было. И когда я выиграл, посол прием устроил. Министр иностранных дел Югославии на тот прием пришел, а посол советский ему говорит: давненько вы у вас не были... А тот ему: а вы давненько нас не приглашали. После этого турнира Хрущев и поехал к Тито. Поймите, шахматисты отвечали не только за игру, за ними целая система стояла, они за политику отвечали...

Кому нужна каспаровская книга? Сколько там томов будет? Двенадцать? Вот спохватились вдруг, что Решевского нет... А Файн где? А Сабо? А Найдорф? И эти анализы старых партий при помощи компьютера, кому это нужно, кто будет их переигрывать? Только фотографии и хороши... Я не знаю, что делать сейчас – в Москве ли оставаться, в Минск ли перебираться, что делать? Как я в Минске никому не нужен буду, так и в Москве никому не нужен, никому...

С мая по декабрь он жил обычно в Москве, а зимовать уезжал в Минск – супруги жили на два дома. Ближе к восьмидесяти стали одолевать всяческие болезни. Самая главная, неизлечимая, называлась старость, и ему приходилось

всё больше считаться с определяющим сознание бытием. В 1984 году перенес серьезную онкологическую операцию, и хотя хирургическое вмешательство удалось и ему до конца удалось держать успешную оборону от раковых рецидивов, с последствиями операции в бытовом смысле был вынужден считаться ежедневно. Следить за собой сам уже не мог, и его переезд в Белоруссию стал вынужденным.

Это случилось в 2004 году. Поначалу ехать отказывался категорически: языка белорусского не знаю, пенсия мизерная, денег нет на лекарства и т.д. и т.п. Неоднократно менял решение. Даже согласившись уже окончательно и отправив часть обстановки в Минск, вернулся домой мрачнее тучи: «Я не уверен, что поступаю правильно...»

На первых порах жизнь в Минске ему очень нравилась. Говорил Фюрстенбергу: «Спасибо, Том, что ты уговорил меня сделать такой мастерский ход».

Но потом начались будни. Он не знал в Белоруссии никого, и мир его стал очень маленьким. Дни, похожие один на другой, еще больше погружали его в прошлое, и он, подвергая себя в очередной раз пытке памятью, вспоминал то, что было и что могло быть, перемывал и перемывал крупницы этого прошлого, еще больше растравляя себя.

Пифагор говорил, что жизнь – подобна играм: иные приходят на них состязаться, другие – торговать, а самые счастливые – смотреть. Торговцем он не был никогда. Прожив всю жизнь в состязании, мог бы закончить ее в счастливом созерцании. Не получилось.

Бесстрастное время, неотвратимо и разрушительно работающее против каждого, теперь особенно работало против него.

Он не был единственным, кто на самом последнем отрезке понял, что помимо выбранного, в жизни было много других интересных путей и что уже никогда не удастся пойти этими путями.

Приоритеты в жизни постоянно меняются, и очень часто человек убеждается, что вложил огромное количество эне-

гии в дела совершенно ничтожные, а главные оставил без внимания.

Ему казалось, что жизнь несправедлива именно к нему, что он не использовал всех возможностей, хотя о таких возможностях в конце жизни мог бы рассказать каждый.

Как-то незаметно он впал в состояние, определяющееся выражением «сильно сдал», и дряхлость очень скоро постучалась в дверь его минской квартиры. Переживания, страдания и обиды не способствовали улучшению характера, а болезни дополнили картину давно разыгранной жизни.

Тело постепенно становилось безжалостным врагом, и, как бесчисленное множество стариков, он терял силы с каждым днем и вынужден был проводить бесцельные дни в однообразном существовании и неизлечимой печали.

У героя рассказа Сигизмунда Кржижановского в мозгу заводится фантом «Зачемжить». Из мозга «Зачемжить» перебирается в шляпу, переходящую потом к другому владельцу, понуждает того к суициду и мечтает снова очутиться в мозгу очередной жертвы. «Зачемжить», поселившийся в мозгу у Давида Бронштейна, не находил себе выхода.

Не обошла его и нередко встречающаяся старческая подозрительность: стал жаловаться, что у него пропадают вещи, украли книги, исчезли записи, за ним следят, подслушивают.

Давление доходило до критической отметки: он постоянно принимал таблетки, разжижающие кровь, но всему был предел. Развилась сильнейшая глаукома, он уже не мог ни читать, ни смотреть телевизор, и требовал постоянного призора.

На улицу выходил крайне редко и категорически отказывался даже говорить о предстоящем 80-летию, повторяя, что до всего надо дожить.

Том Фюрстенберг хотел приехать на юбилей, но Дэвик воспротивился яростно: «Нет, хочу быть в этот день один,

совсем один. И к телефону не подойду, и видеть никого не желаю. Никого, даже Таню. Никто в моей семье до такого возраста не доживал, а меня вот угораздило...»

Удел долгожителей – одиночество. Помимо болезней и тягот, утрат близких и друзей, ужас перед жизнью без свидетелей был для него еще более тяжким, чем для кого-либо: нет существа более неприкаянного чем кумир, чье имя когда-то было у всех на устах.

Старый еврей выглядывал из окна вагона поезда на каждой остановке, причитая «Ой вей! Ой вей!», до тех пор пока его не спросили, о чем он вздыхает. Он признался, что сидит не в том поезде.

Давид Ионович Бронштейн оказался не только в чужом поезде, но и в чужом столетии: его век умер раньше его, и от невостребованности, забытости он страдал не меньше чем от болезней.

Сказал как-то: «Грустно при мысли, что после матча с Ботвинником мне уже не довелось читать и слышать о себе столь же уважительных слов, как прежде».

В самом конце он вдруг увидел в зеркале старика и понял, как коротка, жестоко коротка жизнь. Достигнув преклонного возраста с его болезнями и разочарованиями, он делал из этого вселенскую трагедию, как будто такая участь не ожидает всех.

Требуя для себя бóльшую степень соучастия и сочувствия, он сокрушался, что на его долю выпало слишком мало того, что обозначается словом с таким расплывчатым значением – «счастье».

На самом деле, ему было отпущено в достатке и счастья, и несчастья, только иногда он принимал одно за другое. Полагая, что его несчастье или то, что казалось ему таковым, должны разделять все, забывал, что у каждого имеются свои собственные проблемы и заботы, своя собственная жизнь.

Ars moriendi каждый должен научиться сам, концовка любой человеческой жизни одинакова, и любой может поведать свою собственную историю об ошибках, потерях, страхах и боли.

Сценарий жизни предусматривает сокрушительное поражение в самом конце для каждого. Это поражение только подчеркивает алогизм бытия, но для Давида Бронштейна, всегда погруженного в себя, в собственный мир, столкновение с этим фактом стало вдвойне болезненным.

Разговаривавшие с ним по телефону в его последние минские годы знают, как протекали эти разговоры. Словесные излияния перешли в совершеннейшее недержание речи, а если собеседник собирался кончать разговор, он восклицал – «ну подождите еще минутку, мы же с вами не так часто говорим», а то и – «вы ведь, может, в последний раз меня слышите...»

29.6.2004 года. «Ну как здоровье в восемьдесят лет, вы можете себе представить, что значит – восемьдесят лет? А я как могу это забыть? Просыпаюсь утром, так годы эти сами мне напоминают... Жизнь пропала даром, прошла зря. Зря... Мне кажется, что у меня украли жизнь. Мне кто-то сказал тут из знакомых, что я – знаменитость. Какая знаменитость – я последний человек в этой стране.

Вам повезло, мне не повезло, вы поймите, вы живете в другой цивилизации, в Амстердаме, у вас другая жизнь, всё другое. Мне с вами по-английски говорить хочется, как с Томом. Хотя тот, конечно, не понимает здешней жизни моей ни на грамм, он ведь в другой цивилизации родился и живет, ну как он может понять? Но я сам виноват, конечно. Глупости делал, глупости... Хотя никогда не знаешь.

Поймите, как можно было играть в шахматы, если у меня всё время присутствовало чувство страха. Нет, не перед Ботвинником, хотя я его переоценивал тогда, думал, что он был сильнее, чем он на самом деле был, нет, это был страх перед ситуацией, в которой я оказался в жизни, в стране, всё вместе. Вы же захватили, пусть хоть немножко то время, вы же должны понимать, о чем я говорю... Вы знаете, я сегодня Капабланку читал. “Мою шахматную карьеру”, в 1923 году изданную. Так там всё сказано о шахматах. Всё, что знать

надо. Он сказал очень доступные, простые до наивности, банальные вещи о шахматах. Написанные самовлюбленным человеком, только что чемпионом мира ставшим... Ужасная самореклама!

Мне жалко своей жизни, понимаете, этой ловушки, в которую я попал, мы попали. Поймите, это трезвый взгляд на вещи, а не самоунижение. Вот вы сказали – “сильный шахматист” – есть ведь художники и есть шахматисты, это ведь игра нервов, понимаете, нервов...

И еще я хотел вам сказать – не относитесь серьезно ко всему, что выходило за моим именем, не относитесь серьезно. Это всё Воронков меня спровоцировал, своими вопросами... Уверил меня, что это важно. Да и Фюрстенберг, ну что он понимает в нашей жизни.

Мне жалко, понимаете, мне жалко моей жизни... Всей жизни...»

23.3.2006.

Вы, Г., хорошо написали «Мои показания», я прочел их, но вот о Ботвиннике вы говорите, что я его ненавидел, хотя это же Ботвинник говорит, что я его ненавидел, а вы только записали... Но знаете, я ведь сам не хотел у Ботвинника выигрывать. Сам не хотел, а никто этого не понимает.

Всё ловушка, и жизнь ловушка, а шахматы тем более. Вот я молодой был, я ведь ничего не знал, мы все ничего не знали, и я не знал. А вот недавно переиграл партии турнира в Подебрадах 36 года, так знаете, Вера Менчик уже тогда староиндийскую играла, и как играла! В 36-м году!

Вы вот пишете о Тале – гений, гений, а я вот теперь партии Морфи и Андерсена переигрываю. Вот были гении! Как они играли! Они лучше нас играли. И по центру играли, и комбинировали, а мы думали, что мы всё открыли. «500 партий Андерсена», вот это книга! Я знал, что он играл хорошо, но не думал, что так. Блестяще играл Андерсен!

...будете на Амстеле, зайдите в итальянский ресторан, это номер 20, вы ведь знаете это место? Я там угощал президента голландской федерации, профессора Барендрехта,

Иоханна Барендрехта... Знали его? Замечательный был человек. Ах, если бы я был в Амстердаме, как мы с вами посидели бы славно за бутылочкой коньяка... И поговорили бы обо всем, обо всем.

Я Тане дал, конечно, доверенность на всё, но что она будет делать с моими книгами, со всем, не знаю даже. Я думаю, что я сделал ошибку, когда согласился переехать в Минск, ошибку, я одинок здесь очень. Очень.

Вы знаете, мне ведь всю жизнь не везло с женщинами, никогда, никогда у меня не было в жизни женщины, которая заботилась бы обо мне по-настоящему, никогда. Когда я сорок лет назад развелся с Олей Игнатьевой, я сделал ошибку, я был виноват, кругом виноват, придумал обиду какую-то, нелепую. Зачем? Я ведь всё помню, как ушел от нее, стал жить где-то, питаться где придется, как придется. У меня поэтому и болезнь эта ужасная развилась, и операция мучительная в 1990 году... А может, всё от того, что я во время Чернобыля в Минске был, кто знает...

Оле Игнатьевой не помогал, помню, мама у нее парализованная была еще... То, что я вам говорю, это ведь просто поток сознания, который выплескивается у меня, вы думаете, я сам не осознаю это? Больно, что жизнь прошла, и зазря прошла, зазря.

У меня ведь и сын есть, я его в последний раз на похоронах жены Константинопольского видел. У меня сейчас сердце болит, что я ничего не делал для него, денег не давал, когда он в университете учился, ничего, ничего для него не сделал. Но я ведь и сам тогда комнату снимал, жил как придется. Да что же я говорю такое... Я дико боюсь, что потом всяк версию моей жизни будет давать, да и вы свою версию напишете...

С сыном у меня контакта нет уже много лет. Да, Лев... Лев Давидович. Так получилось. Это мать хотела ему дать это имя, я здесь ни при чем. Нет, к Троцкому это отношения никакого не имеет. Вы не первый, кто у меня это спрашивает...

А потом я встретил другую женщину, Марину. Она мне совсем не подходила, она больше другими мужчинами интересовалась чем мной. Ах, что я говорю такое, вы же потом

напишете, и всё не то будет, не то. Это ведь так трудно объяснить, меня не поймут, не поймут...

Ну, что Таня? У Тани своя жизнь, она преподает, занята с утра до вечера, она поэзию любит... У меня ведь книг – масса, и вообще всего... Кому это всё достанется?

Я с вами очень откровенно говорю, я и с Корчным вчера тоже очень откровенно говорил. Очень. Я его в первый раз в жизни Витя назвал. Витя...

Я – жертва времени и войны, я счастлив должен быть, что меня не убили в войну, и потому хотел что-то сделать взамен... Не получилось, не получилось... Поэтому переживаю очень. Вот не будет меня, вспомнят, был такой человек, только шахматы и вспомнят, а это ведь ерунда полнейшая. Ну, что вы такое говорите – имя Давида Бронштейна...

Я и фамилии своей слышать не могу, на иностранных языках она хоть как-то по-другому произносится, там хоть – куда ни шло. Говорить о своих личных проблемах на фоне проблем целого поколения, войну прошедшего и столько трудностей испытывавшего, не могу. Я тональность не могу найти, тональность... Поймите меня правильно. Конечно, у меня была тяжелая жизнь, но как я могу жаловаться, когда жизнь многих была еще тяжелее? В конце концов я мог за границу выезжать и мир видеть... Другие могли только мечтать об этом. Ведь это была полностью закрытая страна, и все мечтали хотя бы один раз по Елисейским полям пройти или по Пикадилли. А я всё это видел совсем молодым человеком. Судьба оставила мне жизнь. А для чего? Чтобы я заявил, что я играю лучше всех?

Вы поймите, я прекрасно всё помню. Помню и день 10 мая 1940 года, когда немцы вторглись в Голландию, так ведь? Я всё помню, я жив пока, я ведь очень многогранная личность, я жизнь любил во всех ее проявлениях, мне с детства всё интересно было. И то, и это. Я всё хотел знать, а в результате ничего не знаю...

...ведь Морфи и Андерсен играли, и как играли! А что Филидор о шахматах писал! У вас есть минута, я сейчас к полке подойду, книжку возьму, ... вот... вот... нашел. "Кто не

умеет играть конца партии, тот не умеет играть в шахматы”. Вот так-то! И этим всё сказано. А ведь двести лет назад сказано. Это на странице 91-й написано: “Руководства по шахматной игре” Петрова издания петербургского 1824 года.

Я вам вот что скажу: ни одной своей книги не люблю, да и хваленая “Турнир гроссмейстеров” – идиотская книга, это ведь не я написал. Честно скажу: “Турнир гроссмейстеров” написал Борис Самойлович, а я только варианты давал, анализировал. Я тогда насмотрелся партий старых мастеров, вот и старался им подражать. Ну что с того, что поколения учились по этой книге, разве в этом дело...

А другие книги еще хуже той. Фюрстенберг на девяносто процентов всё придумал. “Ученик чародея”. Чародея! Какого еще чародея, когда у меня ни одного дня счастливого в жизни не было, понимаете?

Как вы думаете, будь у меня счастливая жизнь, стал бы я придумывать весь этот хронометраж, быстрые шахматы? При чем здесь чародей? А сейчас я не туда попал, не туда, что я здесь делаю? Я всю свою жизнь испортил. Я стал плохо видеть, силы с каждым днем теряю...

...вы понимаете, когда я на Ботвинника вышел, я прекрасно понимал, что это совсем другое, чем когда Капабланка с Алехиным играли. Придумал Ботвинник какой-то чемпионат жилкоопа, а раньше ведь действительно на первенство мира играли. Я считал, что бросаю вызов всей его системе придуманной, когда от движения пешки на одно поле едва ли ни все мировые проблемы зависят. А я хотел показать, что это игра, только игра, вы понимаете?

Вот он пишет, что кагэбэшники в зале сидели во время матча, поддерживали меня. Это чепуха полная. Полная... Хотя с Абакумовым я несколько раз действительно встречался. И во время матча и до него. Показался он мне умным, интеллигентным человеком. Хотя Абакумов и был главным динамовцем, но для высшего руководства нужен был чемпион Ботвинник, я ведь в отличие от Ботвинника никогда не был ни в комсомоле, ни в профсоюзе. Я же в “Динамо” состоял, а там и профсоюза-то не было...

Но что я за сцену часто уходил, – правда. Я ведь не хотел с ним один на один оставаться, поэтому и за сцену уходил... Ведь когда на вас, не глядя в глаза, сидит человек, ступок отрицательной энергии излучающий, можно любую позицию проиграть...

...у вас есть минутка, я сейчас книгу достану с полки, недавно ее снова просматривал. Вот... Профессор Сикорский, издания 1909 года, типография Шульженко, называется “Душа ребенка, душа животного, душа взрослого человека”. Безумно интересная книга. Не читали? Хотите я вам пришлю? Вам будет интересно... Хотя в Королевской библиотеке в Гааге должна быть, конечно. Обязательно, обязательно посмотрите. Не забудьте: профессор Сикорский.

Я чувствую себя плохо, плохо, ужасно... Ужасно... Всё болит. Вы понимаете, мне одному трудно. Почему я в Минск переехал? Да пенсия у меня была пятьдесят долларов, понимаете? Мне ведь сказали, помню, открывай счет, Илюмжинов тебе пенсию назначил – 500 долларов в месяц. Я даже счет в банке открыл, так вы думаете Илюмжинов мне хоть копейку перевел? А если бы я у Ботвинника выиграл, то уж пенсию точно дал... Мне бы все в рот смотрели...»

31.3.2006. Неожиданно начал говорить по-английски. Объяснил: находящаяся рядом жена не должна понять. Так и говорили, только время от времени переходя на русский.

«...ошибки, я сделал много ошибок, это катастрофа, что я натворил, это невозможно себе представить, я попал в совсем другую страну, для меня это пустыня, выжженная пустыня, вы даже не можете себе представить, что это такое... Это – другое государство, другой город, я здесь никого и ничего не знаю. Пусть я живу в центре города в хорошей квартире на шестом этаже, но это же клетка, клетка, из которой нет выхода. Это клетка...

Нет, вы не можете себе это представить... Мое положение в тысячу раз хуже, чем вы думаете. А все мои книги, а всё мое имущество? У меня же на балконе лежат восемнадцать

ящичков моих книг и рукописей, где я всё написал, что о шахматах думаю...

Я умираю, каждый день умираю. Я знаю, что со мной сделают, меня сожгут, я знаю точно. Я не хочу, чтобы меня сжигали как Ботвинника... Ботвинник. Он сделал меня сумасшедшим. Я в отчаянном положении. В Москве было лучше. У меня есть сын. Я не видел его сорок лет. Там я знал людей. Я был моложе. Я не могу выйти из квартиры. Я не могу уже много лет ходить в туалет нормальным способом, это вы понимаете... Я никому не говорил об этом...

Я всё переписал на жену. Все книги, всё. Ну, пусть и заботится... Да, она и заботится, заботится, она мне таблетки дает, давление снижающие. Я как кот в собственной квартире. (Кричит жене – ну что ты говоришь, что я не могу ходить, что почти ничего не вижу?)

Может быть, она частично и права, *партли* права. Партли. Я с каждым днем становлюсь слабее. Москва была не так плоха, в конечном счете. Но я сам. Я сделал всё сам... Мне дали подписать бумагу, и я подписал...»

Этот монолог длился по меньшей мере час. С повторами, возвращениями в уже наговоренные темы. Когда я собирался попрощаться, говорил – «ну еще чуть-чуть, мы ведь не так часто говорим...»

Обещал позвонить ему через неделю, но не хватало духа: всякий раз, вспоминая об обещании, понимал, что ожидает меня, и отодвигал, отодвигал, как это часто случается у слабых людей, принятие решения, к которому не лежит душа.

Наконец, днем 18 апреля 2006 года решился.

«Что вам, Г., сказать... Положение хуже некуда, мне стыдно, мне неудобно, что я вам жалуясь, что я в таком состоянии, но что я могу поделать? Но если я умру, хочу, чтобы ни вы, никто обо мне ничего не писал. Ничего. Хочу, чтобы меня вычеркнули из этого мира, из мира шахмат. Я ведь, начиная с самого рождения, не то делал, не тем занимался, у меня больные точки в жизни были, кругом больные точ-

ки. Так что, если уж будете писать, так и напишите, что моя жизнь, вся моя жизнь только и состояла из больных точек...

Вот если бы вы смогли в Минск приехать, как бы нам было бы интересно поговорить... Мы целый месяц могли бы говорить. Вы меня хорошо слышите? А то у меня снова помехи в телефоне, я ведь в совсем другом государстве живу, вы понимаете, что имею в виду. Здесь совсем чужая страна для меня, совсем чужая. Какие шахматисты? О чем вы говорите? Здесь пустыня, выжженная пустыня, я никому не нужен.

Я не в порядке, я знаю, что Таня, когда уходит, меня на ключ закрывает, я понимаю ведь всё. Она ходит за мной, кормит, стирает, но легко ли всё это? Легко ли сидеть здесь как в скворечнике?..

...вы хорошо написали про шахматистов, но приукрасили, конечно, всех, приукрасили. А они этого не заслуживают. Не заслуживают... Ведь кто самый умный из всех них был? Ботвинник. Без всякого сомнения, – Ботвинник! Он жил во время советской власти, вот эту советскую власть и использовал на сто и один процент. Он и был самый умный.

Я должен это сказать, потому что в книгах, которые Фюрстенберг и Воронков за мной записали, всё не то, всё не так, не так. Они сделали из меня гончую собаку, сделали из меня эдакого чудака, оригинала. Я ведь мальчишкой был, когда с Ботвинником играл. Мальчишкой. Ничего не понимал. Ничего. Гулял с девушкой перед ответственной партией. Ничего, ничегошеньки не понимал. А Цюрих? И зачем я влез в эту историю – в эту сплавку, меня просто уговорили написать, я и поддался. Не нужно было делать этого, не нужно...

...сейчас я полная развалина. Да, развалина. Если вы в Минск приедете, вы меня не узнаете. Мне будет стыдно за себя, такой старый, развалившийся я стал. Да и как я принять вас смогу? Конечно, если бы вы приехали, мы могли бы месяц говорить. И о Ботвиннике, и обо всем. Жизнь не удалась, не удалась. Я ведь инвалид, полный инвалид. Вы думаете, легко жить после той операции, которая была двадцать лет назад? У Ботвинника был имидж любителя, который

только в свободное время двигает фигуры. Он же на самом деле убил советские шахматы. Но вы знаете, я зла на него не держу, а что я вам сейчас говорю, так это просто поток сознания... Как у Джойса. Он ведь хорошо играл, прекрасно играл Ботвинник, но я хотел показать, что это просто игра. Игра. Всё это чепуха, ерунда...

Я знаю, вы напишете про меня, но, наверное, что-нибудь не так напишете, ведь в вашей книге, Г., вы игру облагораживаете, а это ведь только игра, игра и не больше, вы согласны? Только игра... Вы писать будете обо мне как о шахматисте, а я ведь в детстве был очень любознательный ребенок, всем интересовался, вы видели меня в этой идиотской книге Фюрстенберга на фотографиях ребенком? Мне и сейчас стыдно, что я там свои фотографии поместил. Не надо, не надо было это делать...

...книг у меня масса, а что с ними будет? Вот сейчас смотрю на них, кому они нужны, кому? А для меня это – живые люди... Я сейчас старые книги перебираю, петербургские турниры девятого, тринадцатого годов, на лица шахматистов смотрю...

А как они относились друг к другу! Это я на пороге конца вам говорю... Шахматы – это чепуха, ерунда, не больше того. Как в кости игра. Вот я смотрю на медали и призы свои... Были бы мы с вами родственными узами связаны, я бы вам всё объяснил, а так все будут судить по этим идиотским книгам.

“Ученик чародея” – на девяносто процентов – выдуманная книга. Я просто хотел показать, что я тоже был ребенком... у меня сейчас душа плачет... я ведь тогда всё подряд читал, всем интересовался, всё хотел знать... вот умру и меня сожгут, сожгут... Как Ботвинника сожгут... Я не хочу, чтобы меня сжигали...

Нет, голландец мне по поводу библиотеки не звонил, да и что, если он приедет, у нас ведь теперь всё запрещено, покупать запрещено, продавать запрещено, всё запрещено, что только у нас не запрещено... (Голос слабый очень, временами неразборчивый, в трубке что-то щелкнуло Г.С.) – Я

думаю, что нас подслушивают, меня ведь всегда всю жизнь подслушивали, всю жизнь...

Я думаю, что еще семь-десять дней и меня не будет, я слабею с каждым днем, и зрение, и всё... Вот и у Ботвинника тоже было зрение... Я ухожу из жизни, понимаете, Г., ухожу. Я знаю, что со мной будет... Вы знаете, что происходит с человеком после смерти? Так вот, мою урну на Новодевичьем никто не поставит, как это с Ботвинником произошло. Мне 82 года, вы понимаете, в этом возрасте всё может случиться в любой момент... Ну причем здесь Смыслов, ему дни рождения справляют, юбилеи отмечают, а здесь – полное одиночество. Никому не нужен, никого, ничего... Какие шахматисты? Какой клуб? О чем вы говорите?

Спешите? Ну, хотя бы минутку, минутку хотя бы еще... Вот вы сейчас в город выйдете, на Амстел, до Дама дойдете, до “Краснапольского”... А я ведь... Но не забывайте, не забывайте, давайте знать... Ну, чем вы помочь мне можете, если вся жизнь зря прожита, зря. Зря... Да и кто помочь мне может... Мне не обидно, что я умру, обидно, что со мной умрет целый пласт шахматной культуры... Ну, еще немножко, мы ведь, может быть, в последний раз говорим...»

Он понимал, что, несмотря на мнимые запреты, я буду писать о нем, а, может быть, где-то и хотел этого. Когда объявлял, что сейчас будет говорить абсолютно откровенно, мне казалось, что из под маски того, роль которого он играл всю жизнь, появится наконец настоящий Давид Бронштейн, но никаких откровений не было, и всё сводилось к перепевам известных тем и всякий раз звучало имя его главного обидчика.

Встрепенулся, когда по телевидению показывали Киев, многотысячные толпы на Майдане, улицу, где жил когда-то. Как и почти каждый, он сохранил ностальгическую привязанность к потерянному раю детства, и под толстым слоем поздних отложений в нем жил мальчуган, вприпрыжку бегущий в шахматный клуб киевского Дома пионеров.

Его интеллект продолжал развиваться, приходил жизненный опыт, однако во всем остальном он оставался подростком. Человек в постоянном подростковом возрасте труден и для самого себя, и для окружающих, не желающих помнить собственное невзрослое состояние.

Коллега знаменитого физика Льва Ландау вспоминает, что «из-за его мальчишеских манер то, что он говорит, часто кажется сначала абсолютно непонятным, но если с ним упорно поспорить, то всегда чувствуешь себя обогащенным».

Такое чувство после разговоров с Бронштейном у меня возникало довольно редко. И, в отличие от Ландау, всегда стремившегося не к собственной правоте, а к «правоте физики», всегда оставалось ощущение, что Дэвик старается в первую очередь быть необычным, оригинальным.

В его жизни невозможно вычленить традиционные фазы: детство, юность, зрелость, старость. Пребывая в состоянии подростка, он стал полувзрослым человеком, после чего сразу перешел в старость. Но быть стариком не умел и не хотел, навсегда оставшись испуганным, не умеющим постоять за себя подростком.

И не его ли блистательно угадал молодой Бродский:

«Эрот, не объяснишь ли ты
того (конечно, в частности, не в массе),
что дети превращаются в мужчин
упорно застревая в ипостаси
подростка. Чудодейственный нектар
им сохраняет внешнюю невинность.
Что это: наказание или дар?
А может быть, бессмертья разновидность?»

На люди выбирался крайне редко, всегда в сопровождении жены. Контакта с минскими шахматистами фактически

не имел. Бывал изредка в клубе «Веснянка», где занимаются шахматами десятка три детей.

В последний раз за год до смерти. Рассказал что-то о себе, хотел было показать какую-то позицию на демонстрационной доске, но как ни силился, вспомнить ее не смог и очень из-за этого расстроился.

Подарил клубу две свои книги, подписал их. Дети, подготовленные взрослыми к визиту великого шахматиста, смотрели на него широко раскрыв глаза. Просили автографы, но получили их немногие: было видно, что ему стоит немалых трудов выводить на бумаге свою подпись.

Люди, которых взрослый мир не принял, очень часто лучшие друзья детей. Для взрослых они не вполне нормальны, для детей полны обаяния: выросшие, но так и не ставшие взрослыми очаровательные чудаки.

Каким виделся им маленький сгорбленный старичок, похожий на гномика из сказок, которого большие дяди и тети называли шахматным гением?

С детьми разговаривал очень простым языком; многим запомнился его совет: «Смело ставьте коня в центр, подоприте его пешкой и никого не бойтесь». Потом дети стали играть, а он ходил между столиками, приговаривая: «Не обращайтесь на меня внимания, я просто пришел посмотреть...»

Иногда останавливался у какой-то доски и с беззащитной улыбкой смотрел на позицию. Перед ним были те же шахматы, те же фигурки, что и семьдесят лет назад, когда он в первый раз пришел в киевский Дом пионеров. Та же игра, принесшая ему столько радости и столько печали.

Посетил и рождественский турнир, в котором играли взрослые. Заранее предупредил, чтобы не было никаких презентов: дома, мол, у него около сотни призов, которые и так девать некуда. Накануне визита боялся, что не узнают: вроде, был случай, когда зашел на какой-то турнир, но никто не обратил внимания на маленького человечка, с трудом ковылявшего между столиками. Но встретили очень тепло, аплодировали. Уходя, повторил еще раз: «Зря, зря я посвятил жизнь шахматам...»

Писал когда-то: «Ни за что на свете не поверю, что любовь к шахматам может остыть». Увы, может, как и всякая любовь. Но и – Бронштейн, написавший те строки, имел мало общего с восьмидесятидвухлетним стариком, силящимся вспомнить позицию из собственной партии.

В мае 2006 года Валерий Иванов навестил его в Минске. Он вспоминает: «Когда я собрался уже уезжать домой, сказал:

“Таня, обрати внимание: Давид Ионович Бронштейн в последний раз в жизни видит Валерия Сергеевича Иванова...”

“Давид Ионович, ну что за чушь вы говорите? Подождите, поживем еще!”

“Не чушь. Я знаю, что говорю...”

Потом: “Валера, а что вам подарить на память?”

“Ничего мне не надо. Вы мне уже всё подарили”.

“ Может, вазу?..”

Снял с серванта красивую вазу и пошел к Тане на кухню. Согласовывать. Нет, номер не прошел. Принес обратно, поставил на место. Достал рюмочный набор. Ушел. Вернулся. Вновь неудачная попытка.

“Давид Ионович, раз уж на то пошло, – отдайте мне свои записные книжки. Если вы меня переживете, так они вернуться к вам целыми и невредимыми. Ну, а если... Вы понимаете”.

“Да? Ну, хорошо... Если Таня будет не против”.

Восемнадцать записных книжек военной и послевоенной поры с номерами телефонов, адресами, автографами, шахматными заготовками, партиями и массой других записей хранятся у меня...»

Позвонил в Минск в конце октября 2006 года. Сняла трубку жена.

«...он рядом в комнате. Вот он сидит, прислушивается, понимает, конечно, что я не с подругой говорю. Но не думаю, что было бы правильно дать ему трубку, будет тот же бред, что вы слышали уже, только еще более тягостный... Ему хуже, много хуже. Он беспрерывно говорит. Беспрерывно. Всё та же пластинка, всё тот же бред.

Я виновата во всем. Зачем я его вывезла из Москвы? Зачем я это сделала? Почему он в Москве не мог остаться? Но он ведь уже не мог следить за собой, а отдать его в какое-нибудь заведение означало бы совершенно точно очень скорую смерть. Вы же знаете, чем являются такие заведения у нас...

Первый год после переезда в Минск был еще ничего, второй совсем плох, теперь – ад. Неимоверно трудно с ним. Я на антидепрессантах, иначе с ним рядом невозможно выдерживать... Если что-то ест, то всё не то, всё не так приготовлено. Во всем меня обвиняет, во всем. С другими еще ничего, но со мной... Из дома уже давно не выходит, телевизора не смотрит, радио не слушает, книг не читает, ничего не видит почти, глаукома... Теперь и на улицу не выходит. Последний раз был в сентябре, посидел немного в скверике недалеко от дома, безучастно глядя вокруг.

Абсолютно пассивный, потерявший интерес к жизни, ко всему... Нет, из шахматистов у нас никто не бывает... Врача видеть категорически не хочет. Уже месяц не моется. Говорит, я хочу утопить его в ванне. Учитывая, что у него вывод на сторону, можете представить себе, что это такое. Бред на ту же самую тему. Книги какие-то у него украли, рукописи... Если раньше не обращали внимания на его странности, чудаковатость, теперь это совсем другое – бред, очевидный бред. Какой? Обычный набор: бессмысленная жизнь, шахматы – полнейшая чепуха, вздор, всё – фикция, никого не было, Леонардо да Винчи – не было, не было, никого не было. Ну, и Ботвинник, конечно...»

В самом конце стал еще более раздражительным и жаловался на всё. На жизнь, загубленную шахматами и прожитую впустую, на жену, настоящую на переезде в Минск, где он никому не нужен, на Вайнштейна, внушившего ему неприязнь к Ботвиннику, на Фюрстенберга, ничегошеньки не понимающего в российской действительности, на Воронкова, спровоцировавшего его на откровения, которых он стыдится, на них обоих, своих соавторов, подбивших его

на написание книг, которые он не должен был писать. На Корчного, думающего, что если оказался за границей, так и может вести себя так, будто что-то понимает в жизни того времени и на всех смотреть свысока. Всем им – на Сосонко, только и ждущего с пером в руке, чтобы тут же опубликовать воспоминания о нем. Но интересно, что во всех его жалобах, пусть нередко несправедливых и преувеличенных, когда и бессмысленных, был какой-то смысл.

У вступивших в последнюю фазу существования нередко меняется характер, сбрасываются маски, обнажается подлинная сущность человека. А в самом конце душу душил больное тело: исчезают всякие мысли кроме мыслей об отрывающихся служить органам, немощности плоти, боли.

Он стал телом, больным сморщенным телом, но кроме тела, оставался еще дух, сплетавший разнообразные узоры. Конечно, его жалобы и фобии легче всего объяснить возрастными изменениями мозга, что и констатировали врачи. Но так ли уж всё можно списать на болезнь?

Его мозг не заржавел, что случается с большинством людей, а скорее износился, хотя поток идей, пусть и аранжированных из старых мелодий, не прекратился. Он был почти слеп и совершенно беспомощен, но не был ли таким в конце жизни и Эдип, когда его мучила загадка: «Кто же я? Что это – моя жизнь?» Незрячий царь наконец-то увидел то, чего не видел всю жизнь.

Как далеко зашел Бронштейн, оказавшись один на один с неизбежным? У каждого ведь есть подполье в душе, у многих – с ходами и разветвлениями, но туда, где блуждала его беспокойная душа, не было хода никому. Очевидно, что и на без того беспокойной глади его сознания появилась сильная рябь, но мы не имеем ни малейшего представления, откуда дул ветер, поднимавший эту рябь.

Дон Кихот на пороге смерти отрекся от своего прошлого, от романтического безумия, фактически от себя самого. Возвращающемуся в конце романа исступленным искате-

лем приключений в родную деревню Санчо Панса он говорит: «Оставь эти глупости». Когда же близкие уверяют, что всё, говорящееся им сейчас, бредни, Дон Кихот не соглашается: «Я называю бреднями то, что было до сих пор. Бреднями, воистину для меня губительными...»

В последний период жизни Бронштейн начал боготворить Ботвинника, не уставая повторять, что тот был великий человек, поступавший полностью в духе времени, что сам он был мальчишкой и в подметки ему не годился, что в их отношениях он был кругом неправ, неправ...

Что он понял это только сейчас, а раньше не понимал. Говорил, что во всем виноват Вайнштейн, что тот был нехороший человек, что Вайнштейн постоянно науськивал его на Ботвинника, а он шел у того на поводу.

«Велик, велик был Михаил Моисеевич, а я-то, мальчишка, да как я смел на него замахиваться? Дураком был, просто легкомысленным дураком, и вел себя как мальчишка» – рефреном звучало в его словоизвержениях.

Был ли карнавал этих мыслей скоромошничеством? Или чем-то, бродившим в глубинах сознания и всплывшим в предчувствии неотвратимого? Раскаянием? Покаянием? Болезнью?

Тем, что по-английски называется «temporary insanity» или, говоря попросту, временным умопомрачением? Начал ли мозг Бронштейна неадекватно воспринимать мир, или его посетило последнее озарение, обнажившаяся правда? Сказано ведь: единственные подлинные идеи – идеи тонущего. Всё остальное – риторика, поза, низменный фарс.

Но, в который раз, уверяя, что Михаил Моисеевич был кругом прав, сказал однажды с детской улыбкой: «Но фантазия у меня все-таки была...»

И заныло вдруг сердце при этих словах, и сама собой возникла пронзительная мысль: зачем, зачем я написал всё это о выдающемся шахматисте, так страдавшем к концу жизни? К чему эти философствования и попытки объяснения? Кому это нужно?

Знал ведь, что не следует, никогда не следует ничего вспоминать, оставив мертвым их покой, а живым – их иллюзии.

В конце ноября случился инсульт, обширный очень, но дара речи не потерял и на вопросы жены отвечал осмысленно.

Как тебя зовут? Давид. Кто лучше всех играл староиндийскую защиту? Геллер. Может, все-таки ты или мой папа? Нет, Геллер. Как звали Таля? Миша. А Ботвинника? Миша. Как? Миша.

Он умер 5 декабря 2006 года. В этот день игралась последняя партия матча Крамника с компьютером, где машина, применив в дебюте необычный маневр, добилась победы.

Какова была бы реакция Бронштейна? Сказал ли бы он, что играл подобным образом еще в Доме пионеров в Киеве в легких партиях с Болеславским? Возмущался бы миллионным гонораром, стоявшим на кону? Или наоборот – порадовался бы неординарной идее?

Мы не можем знать этого. Давид Ионович Бронштейн, Давид Седьмой, гений, потрясший в середине прошлого столетия шахматный мир, ушел навсегда.

Когда умер Набоков, его племянница стала выговаривать Вере, как та могла допустила смерть мужа. Жена писателя отвечала: «Владимир умер в положенный ему срок. Он уже не был способен делать то, что любил: думать и писать».

Повторим и мы эти жестокие слова: Давид Бронштейн умер в положенный ему срок. Он уже не был способен делать то, что любил больше всего – думать, играть и рассуждать о шахматах.

Похоронили его на старом Чижовском кладбище совсем рядом с могилой Исаака Болеславского, на похороны пришла только горстка людей.

На похоронах Геллера Бронштейн говорил, что покойный всю жизнь занимался поисками шахматной истины, она не давалась ему, но он всё равно упорно продолжал ее искать. Давид Бронштейн тоже не нашел истину в шахма-

тах, но это не имеет значения: истины существуют не для того, чтобы их находили, а чтобы искали.

«Он бродил виденьем чумным, добрым людям на забаву, и стяжав навеки славу, умер мудрым, жив безумным».

Это эпитафия на могиле его любимого Дон Кихота. Умер ли Бронштейн мудрым, жив безумным? Или наоборот?

Слова из эпитафии на другой могиле – Свифта: «...суровое негодование не разрывает больше его сердце» – могли быть написаны и на его надгробной плите.

Было бы эффектно закончить повествование о Давиде Ионовиче Бронштейне фразой: когда всё кончилось, тогда только всё и началось. Увы, это не так. Его смерть прошла почти незамеченной, разве что в траурном объявлении в российском шахматном журнале сообщалось, что скончался «участник матча на первенство мира» – формулировка, так раздражавшая самого Бронштейна.

«Коллега-чемпион», – обратился к нему Макс Эйве в телеграмме после московского матча 1951 года, и так видел сам Бронштейн свое место в мировой табели о рангах. Таким он и останется в шахматах – маленький философ, Дон Кихот, всю жизнь сражавшийся с самим собой. Великий художник шахмат Давид Седьмой.

Не удивлюсь, если на него обрушится еще один всплеск славы. Кто знает, что ждет нас, когда будут разгаданы все тайны шахмат и они станут обычной игрой. Пусть королевской, но игрой.

Тогда взоры обратятся не только к партиям старых мастеров, но и к их судьбам, ко времени, в котором им довелось жить.

И не будет ли чудесным и ироническим жестом Каиссы, если никто и не вспомнит бабочек-однодневок, мелькнувших в списке чемпионов мира в конце XX века, зато высветятся удивительные партии Давида Бронштейна.

Адриан Михальчишин, Олег Стецко.

ЗОЛОТОЙ ВЕК СОВЕТСКИХ ШАХМАТ



Книга – о самом ярком периоде «Золотого века» советских шахмат с его наиболее продуктивной формой проведения чемпионатов страны – высшие и первые лиги в 1973–1990 годах. В них участвовали все поколения наших чемпионов мира, наследников Патриарха – легендарного Ботвинника.

Книга прямых участников событий (одного – игрока, другого – организатора) рассказывает о последних 17-ти чемпионатах СССР (обо всех высших лигах) и включает в себя 93 самые яркие партии сильнейших шахматистов страны. Приведены таблицы всех высших лиг.

Авторы книги – воспитанники советской шахматной школы. Адриан Михальчишин – международный гроссмейстер, участник высших и первых лиг; ныне он – один из самых успешных тренеров ФИДЕ. Олег Стецко – мастер спорта СССР, работал в Управлении шахмат Госкомспорта СССР (в 1985–1989 годах – тренером мужской сборной команды СССР).

Эдуард Ласкер.

ШАХМАТНЫЕ СЕКРЕТЫ. Чему я научился у мастеров



Автор книги – известный американский международный мастер, один из лучших шахматных литераторов первой половины XX века. Участник знаменитого супертурнира в Нью-Йорке 1924 года.

Человек крайне неординарный, проживший долгую и насыщенную жизнь, Эдуард Ласкер щедро делится с читателем воспоминаниями о своем творческом пути и о великих современниках – Алехине, Капабланке, Яновском, Маршалле, Решевском и многих других, с которыми он

был дружен и не раз встречался за доской. Эта книга – не только прощальный салют ушедшей эпохе, но и блестящий учебник шахматной стратегии и тактики: на примерах из своих, и не только, партий автор откровенно рассказывает о том, чему и как он учился у прославленных маэстро своего времени!

Генна Сосонко (Геннадий Борисович Сосонко) – гроссмейстер, победитель и призер многих международных турниров, двукратный чемпион Голландии.

На протяжении четверти века Сосонко защищал цвета Нидерландов на Олимпиадах, чемпионатах Европы и мира, много лет был капитаном сборной страны.

Всё это произошло в его второй жизни, после эмиграции (в 1972 году) из Советского Союза, где он тренировал Таля и Корчного.

Последние годы он посвящает литературному творчеству. Книги Сосонко выходили на многих языках мира.

Гарри Каспаров: «Сосонко видится мне сегодня бесспорно пишущим шахматистом номер один».



Книга Генны Сосонко посвящена судьбе выдающегося шахматиста Давида Ионовича Бронштейна. Пик Бронштейна пришёлся на середину прошлого века, когда он бросил вызов самому Ботвиннику и почти одолел его, но это «почти» нанесло ему рану, так и не зажившую до конца жизни.

Автор неоднократно встречался и разговаривал с Бронштейном, и эти перенесённые на бумагу беседы воссоздают не только мысли и характер одного из самых оригинальных гроссмейстеров прошлого, но и возвращают нас во времена, аналогов которым не просто сыскать в мировой истории.

Не являясь жизнеописанием в классическом понимании слова, читающаяся на одном дыхании книга Сосонко выходит за пределы биографии героя, ставя вечные вопросы, на которые нет однозначного ответа.

ISBN 978-5-906254-12-2



Генна
Сосонко

Давид Седьмой